

ВАЛЕНТИН МЕДВЕДЕВ



ЧТОБЫ ВЕТЕР В ЛИЦО

SHOUT
SHARE IT



Annotation

Боевые подвиги, воля, храбрость девятнадцатилетней Розы Шаниной восхищали ее подруг-снайперов, о ней писали армейские, фронтовые и центральные газеты, о ней сообщало Совинформбюро. За девять месяцев своей ратной жизни старший сержант Роза Шанина была награждена орденами Славы второй и третьей степени.

В книге о знатном снайпере Розе Шаниной автор — в годы войны корреспондент армейской газеты — рассказывает о девушке-патриотке, смело шагнувшей навстречу обжигающему ветру войны, мужеством своим, исключительной отвагой утвердившей право на бессмертие.

- [Валентин Медведев](#)
 - [У самого Белого моря](#)
 - [ЦШС](#)
 - [Горький хлеб](#)
 - [Юго-восточнее Витебска](#)
 - [Если бы люди знали...](#)
 - [На слет снайперов](#)
 - [Последний перегон](#)
 - [Бессмертие](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)

Валентин Медведев

Чтобы ветер в лицо

*Дочери Нине
посвящаю*

У самого Белого моря

Лейтенант оказался человеком понимающим

В кабинете военного комиссара Первомайского района Архангельска карта на стене. Черные стрелы полудужьем нацелены на Москву. Там, за основанием черных стрел, Калинин, Клин, Истра, Волоколамск, Яхрома, Солнечногорск... Только что майор черным карандашом удлинил стрелы до берега Московского моря. По сводке Совинформбюро на двадцать девятое ноября. Только что протянул руку к телефону, чтобы позвонить на вокзал, узнать, сформированы ли эшелоны, а тут встречный звонок. Вызывают, как всегда, срочно, немедленно в горвоенкомат. И еще вызов. К начальнику ПВО. Как всегда — срочно, немедленно.

И все-таки майор задержался, когда ему сказали, что за дверью опять та самая настырная девчонка, которая требует, чтобы ее отправили на фронт и обязательно с винтовкой. Полчаса потратил в прошлый раз майор на разъяснительную работу с настойчивой посетительницей. Шестнадцатилетняя девчонка все доводы пожилого человека отвергала с каким-то осмысленным, жестким упрямством, с той искренней непосредственностью, которая может тронуть даже самое неотзывчивое сердце.

Она ушла, бросив на ходу, что там, в горкоме комсомола, сидят не такие, а совсем другие, понимающие.

Теперь в распоряжении майора считанные минуты.

Взглянул на сверток в руке девушки.

— Ну что, опять будем воевать? — с напускной строгостью спросил он, улыбнувшись сидевшему за столиком седоусому лейтенанту. А может быть, это просто Розе показалось, что майор улыбается. Когда не везет человеку, ему обязательно что-то начинает казаться. Может быть и так. Вспыхнула, покраснела, ответила, не раздумывая, резко:

— Вот и буду воевать тут. — Развернула сверток, положила на стол мишени — продырявленные яблочки. Майор удивился.

— Твоя работа?

— Моя, — ответила Роза.

Майор подозвал к столу лейтенанта.

— Андрей Николаевич, а ведь тут что-то есть, взгляните, а? Это уже почерк, это, если хотите, зрелость.

Где-то еще вдалеке, мелко, торопливо прозвучал трамвайный звонок. Накинув шинель, майор дружески протянул

руку:

— Позвони, когда будешь стрелять. Подъеду.

Роза утвердительно кивнула головой и принялась старательно свертывать свои мишени.

— Давно стреляешь? — услышала она за своей спиной голос лейтенанта.

— С понедельника.

У того даже лицо вытянулось.

— Это... это как, с понедельника?

— Вот и так, — зло отозвалась Роза. — Очень даже понятно, война началась в воскресенье. Ну вот. В понедельник и начала стрелять. Все пять в яблочко.

Лейтенант понимающе подмигнул.

— Ясно. Из семейства охотников.

Роза передернула плечами.

— Хм, что вы! У нас в доме и ружья-то никогда не видели.

— И не стреляла до этого, до понедельника?

— Стреляла, — глубоко вздохнув, призналась Роза, — в Шангалах, в тире, только опозорилась.

Лейтенант уселся за стол майора и, смотря на ее большие подшитые валенки, сказал:

— Это все-таки, понимаешь, удивительное явление. С первой стрельбы и, говоришь, все в яблочко?

Кровь подступила к лицу. Это что же, не верит человек, еще спрашивает. Лейтенант словно угадал ее мысли, смешно замахал руками.

— Да ладно, ладно, не обижайся, верю, классно стреляешь, только вот это, ну понимаешь, не доходит... Без предварительных тренировок — и все, говоришь, в яблочко... Ты где стреляешь?

Ответила, что стреляет у вокзала, в осовиахимовском тире.

— Далековато тебя занесло. Учишься?

Она рассказала, что учится на первом курсе педагогического училища, что работает в детском садике, пока няней, но обязательно ее назначат воспитательницей в ночную группу, что собирает она среди родителей вещи для фронтовиков и, самое главное, вот уже скоро полгода, как она три раза в неделю стреляет.

Лейтенант записал фамилию, адрес педагогического училища. Адрес детского садика Роза не назвала. Сказала, что это ни к чему: там не знают, что она ходит на стрельбище. Лейтенант дал слово, что ее поставят в военкомате на особый учет. А когда она спросила, что это такое «особый учет», объяснил, что когда будет объявлен набор в школу снайперов, а он нисколько не сомневается, снайперы потребуются фронту в большом

количестве, вот тогда они с комиссаром и предложат ее кандидатуру.

Ушла из военкомата не окрыленной, но и не без надежды.

Лейтенант оказался человеком понимающим.

Все у меня в порядке

Письма, которые приходят в Архангельск из дома, отличаются от всех других тем, что их может прочитать только Роза, и никто другой. Первые строки кое-как держатся на линейке, буквы как буквы, где с нажимом пера, где без нажима, и знаки препинания на своих местах. Только первые строчки такие, а дальше — хаос. Столпотворение загогулинок. Дальше уже тьма для непосвященного человека. Строчки бегут, бегут куда-то книзу, торопятся, цепляются одна за другую, буквы кувырком, никаких знаков препинания, изредка встретится точка, да и то не к месту.

Это вовсе не означает, что Марат не может писать хорошо, ровно и разборчиво. Может мальчишка, умеет. Вот совсем недавно получила Роза ответ на свое письмо в школу. Учительница жалуется, пишет, что Марат Шанин старательный ученик, толковый паренек, отличником мог бы стать, да вот беда, пропускает уроки, ну, и, понятно, отстает. Учительница успокаивает сестру Марата: «Вот кончится война, тогда он будет заниматься только своими школьными делами».

А теперь война. На плечи двенадцатилетнего мальчишки навалилось так много разных дел и забот. И письма. Вся переписка и читка на нем — единственном теперь в семье грамотее. Пишут братья, пишет Роза, пишет Юлия из Строевского, каждое письмо прочитать надо, да не один раз, то отца нет в доме, то матери. На каждое письмо ответить надо. И за отца и за мать, да и самому так хочется рассказать о разных своих делах и приключениях. Ведь теперь только двое мужчин в доме: отец да он.

В конце письма Марат передавал особый привет от дяди Маврикия Маврина и благодарность за то, что Роза вернула ему сына...

Кружатся, кружатся мысли... Маленькая лесная деревушка Едьма на берегу неторопливо текущей Устьи. Родной дом. Березы перед домом, ее ровесницы. Может быть, чуть постарше... А там, в доме, за окном отец и ночью приехавший из Шангал инструктор райкома. О дяде Мавриикии говорят, что никак нельзя простить его тяжелую вину перед народом. Спокойный голос отца: «Учили

дурака, учили, а ему на все наплевать». Потом слова инструктора райкома: «Собери молодежь. Побольше молодежи, задумали верно, что выносите на суд народа. Так когда думаешь, Егор, собрание созывать?» — «Сегодня, в восемь вечера, — отвечает отец. — Остался бы, Иосиф Николаевич, послушаешь, нам поможешь». О чем-то еще говорят, кажется, о Пашке Маврине...

Забралась в самый угол, на последнюю скамью. Хорошо, едемские не видят, засмеют, откуда, скажут, новый такой лесоруб выискался.

Отец ведет собрание лесорубов. Дядя Маврикий у стола. Поглядывает то на отца, то на других, которые рядом. Слушает, что говорит отец, пощипывает свою рыжую нечесаную бороденку, глаза злые, под усами улыбочка злая. Нехорошая, наглая. «Так она, семга, что! Ей и податься некуда. В мой перемет или, скажем, в волочишки чижовские, — она, куда ни пойдешь, все одно в сетку. Сама на погибель идет...» А по рядам шумок пошел: «Дураком прикидывается! У нас на барже таких на берег списывали!»

Поднялся отец со скамьи, провел ладонью по лицу. От глаз к подбородку, вот так, как со сна делает, что-то вспоминает. И все молчат, ждут, что скажет отец. Начал издалека. Вспомнил гражданскую войну, свою шестую армию, бой под станцией Емца, допрос пленного англичанина. Ни слова по-русски не понимает. Раздобыли переводчика. Спросили они англичанина, за каким чертом в чужой дом забрел, что там забыл, своей земли мало? А он им отвечает, мол, вас, русских, американцы ликвидируют, а не американцы, так французы прикончат или японцы подоспеют. Дескать, русские мужики без царя жить неспособны. «С одной веточки стрекочут они — и наш товарищ Маврин и господин англичанин, — сказал отец. — Выходит, если не Маврин изведет семгу, то другие доконают, трудовому народу красная рыба ни к чему, баловство одно, трудовой народ ершиками да треской сушеной сыт будет. Царя нет, господ благородных нет, на кой ляд разводить семгу. Судить тебя следует, Маврин, — отец строго взглянул на него, — по законам нашего государства».

Маврин заморгал, на щеках красные пятна, пот со лба скатывается. «А ну, посуди, посуди, ты попробуй! Сына единственного в армию отдал, раны за войну имею, а ты за десяток рыбешек судить».

Все зашумели. Послышалось со всех концов: «Парня опозорил», «Молчал бы про сына!», «На симулянта сына готовил!» Маврин божился, что Пашка ничего не знал, про то, как он в чай подливал знахаркино зелье.

Ушел Пашка служить в армию, так и не простилась она со своим дружком. Не простилась и не простила. Ведь она, как и

другие, не знала, как все было, и она думала как другие, что это он, Пашка, калечил сам себя, только бы не взяли в армию. Это потом, когда Пашка уже служил, все прояснилось...

Потом она не слышала, о чем говорили лесорубы. Думала о человеке, от которого отстранились люди, родной сын только одно письмо за всю зиму прислал. Сердце сжалось от жалости к человеку, ведь был он когда-то заметным в народе. Какой плотник был Маврин, какие могучие запаны ставил на Устье. Были друзья у дяди Маврикия, много было друзей. Да только давно, при жене, это когда они с Пашкой вместе в школу ходили. Умерла Екатерина Павлиновна, и все пошло прахом в доме Мавриных. И стал Маврикий Трофимович просто Мавриным, без имени, без отчества, без уважения...

Пригнувшись, вышла из зала и знакомой тропкой побежала к дому Маврина. Долго ждала, может быть, ей показалось, что долго, потому что поскорее хотелось сделать задуманное. Услышала тяжелые неторопливые шаги, прижалась к забору, а когда свернул к калитке, тихо окликнула: «Дядя Маврикий». Видно, узнал по голосу, остановился, спросил, не подымая головы: «Чего тебе?» Она сказала тихо: «Пошли в дом, дядя Маврикий, там скажу». Зажег лампу, молча сбросил со стола какие-то тряпки, куски войлока, кожи... Занавески на окнах, желтые в полоску, те самые, которые они с Пашкой когда-то повесили. Нестираные, выгоревшие, прокопченные. Белая тумбочка перекечевала из угла к постели, а там — запыленный пружинный матрас, ведро. Ведра у двери, пила на стуле, глиняные горшки из-под цветов на полках рядом с Пашкиными книгами...

Маврин швырнул со стула на постель свою куртку, поправил на стене Пашкину фотографию, потом сказал: «Пришла, так садись, говори, что там у тебя такое ко мне». Попросила адрес сына. «Ты это что надумала?!» — «Письмо Павлу хочу написать».

Лицо старика вдруг побелело. Хлопнул ладонью по столу, пламя столбиком взметнулось в стекле лампы. «Слышь ты! Пашку моего не тронь, не позволю тревожить душу мальчишки бабкиным позором. Мало вам, что на весь район споганили человека, судить задумали. Мало вам? К сыну подбираетесь? Порадовать человека собрались? Вот ведь что затеяли! А я-то, старый, сперва подумал: за добрым делом пришла, а ты...» Маленький, в короткой зеленой курточке, глаза горят, борода трясется. Маврин схватил ее за руку, со страшной силой толкнул к двери, а там ведра, доски. Оступилась, больно ударилась щекой о полку...

К своему дому шла берегом Устья. Шла медленно, прижимая

к щеке смоченный в реке платочек. Сорвала цветок душицы. Сонные лепестки сомкнуты, капелька росы в чашечке. Будто звездочка. И все вокруг сонное. Цветы, листья, травы. Подняла на ладони заснувшую бабочку. Черная, с белой каймой. Поддержала в руке, сбросила в траву... Только бы не думать, только бы ушло из головы все, что сейчас было. Сняла косынку, накинула на плечи, прикрыла следы крови на кофточке.

Дома, в длинном коридоре, столкнулась с братом. «Где ты была?» — спросил Михаил. Поправила косынку на плече. Вдруг кровь увидит, станет расспрашивать. А он ссадину на щеке увидел. «Это что?» Был с детских лет у них уговор: не лгать. Что бы ни случилось — говорить только правду. «Я тебе все, Мишенька, расскажу, только сейчас не спрашивай. Ладно?»...

Где-то он сейчас, Михаил: писем с фронта давно нет. Еще раз перечитала письмо, взяла карандаш, тетрадь. Первая строчка улеглась привычно: «Дорогие, родные отец, мама, Маратик»... Подумала, с чего начать, какими словами хотя бы чуточку успокоить мать, хотя бы немного оттеснить от нее тяжкие думы. Начала так: «Не беспокойтесь обо мне, живу нормально, не хуже других. Учеба идёт хорошо и на работе все у меня в порядке. Из общежития перебралась в свой садик. Теперь у меня отдельная комнатка».

Признание

Тревожная ночь. Город не спит, город даже не дремлет. Город бодрствует. Под окнами выбивается из последних сил мотор машины. Весь день, с раннего утра бесновалась снежная буря. Замела, завалила сугробами улицы. Ни пройти, ни проехать. Когда затихает мотор, слышится частая стрельба зениток. Где-то далеко, кажется, за рекой, а может быть, у вокзала.

Тихонько, чтобы не скрипели половицы, заведующая детсадом Татьяна Викторовна идет к малышовой группе. В комнате полный порядок. Тишина. Сон. Роза закрывает книгу. Совсем девчонка! Серая спортивная курточка, серые спортивные шаровары, белые тапочки, волосы перехвачены спереди тонкой голубой ленточкой. Взглянула удивленно. Глаза большие, вот точно такие, как у Светланы, самой дорогой, праздничной куклы. Совсем девчонка.

— Ты только не подумай, пожалуйста, — шепчет Татьяна Викторовна, — что я проверять тебя зашла. Уснуть не могу, вот и забрела. Опять где-то стреляют... Устала ты от всех своих дел. От военных в особенности.

Роза нисколько не удивилась этой ее осведомленности, даже не покраснела, потому что предвидела, долго остаться незамеченными ее походы на полигон не могут.

— Ну и вот, что получилось, друг мой. Мне пришло в голову, что ты с кем-то встречаешься, кто-то закрутил тебя... Ну что так смотришь? Да! Я так думала. Это право каждого человека думать. А вот не каждому дано скрывать свои мысли. Чем больше думала о тебе, тем тревожнее становилось на сердце. Спросить тебя? Но какое у меня право вмешиваться в личные дела взрослой девушки. Ты уж прости меня, пошла в училище, встретила с твоим завучем, там и узнала горькую правду...

— Почему горькую? — спокойно спросила Роза.

— Почему, почему, — ласково проворчала Татьяна Викторовна, — а потому, вот прочитай Ремарка, я тебе принесу книжку, вот ты тогда узнаешь, что это такое снайпер. Ну я понимаю, такое время, сердцу не закажешь, сама вот собираюсь проситься в военный госпиталь, там люди нужны, но ты, Розочка... страшно подумать: девушка-снайпер. Или там, где ты стреляешь, сидят ничего не смыслящие, жестокие люди?

Роза поднялась со стула, прошла к затемненному окну, и оттуда Татьяна Викторовна услышала твердое:

— Все! Решено и подписано.

Таня

Перед сном сказка. Сказки воспитательницы Розы — особенные. Там и люди настоящие, не колдуны и не ведьмы, не принцессы и не принцы. Просто люди. И всегда очень интересно получается, никак не угадаешь, что там в конце будет. Это даже не сказки, там все от начала до конца выдуманно, а у Розы все правда. Сегодня Роза пришла в группу с новой сказкой про смелого и отважного Богатыря. Он и корабли водит по морям, на самолете летает. Высоко-высоко. И фашистов Богатырь не боится. Куда там Змею Горынычу до него.

Сказка жила с детьми, сказка была неразлучной спутницей малышей в играх, в этом маленьком мире, где сбегаются в один журчащий, чистый ручеек правда и вымысел, были и небылицы. Сказка приносила малышам спокойную ночь и доброе утро. Разве посмеет фашист войти в этот дом, если в небе Богатырь на своем быстрокрылом самолете. И на земле Богатырь в своем грозном танке, и под водой Богатырь в подводной лодке. Всюду он, пусть только сунутся, пусть только посмеют.

...Спят малыши в своих белых кроватках. Тепло, тихо в доме.

А на улице снова снежная кутерьма, замело трамвайные пути, штормовой ветер бьется в ставни, в двери, стонет в дымоходах, шумно охлестывает бревенчатые стены, будто мало ему раздолья на бескрайнем ледяном просторе Северной Двины.

Стрелки будильника давно перемахнули за полночь. Роза не спит, потому что ей нельзя спать, такая у нее работа. Надо игрушки собрать, полы протереть, столики подготовить к завтраку, выстирать свой серый единственный спортивный костюм, чтобы к утру просох. Завтра контрольная работа по математике, завтра зачетные стрельбы... Надо, надо, а спать так хочется. Тихо вошла нянечка Агафья Тихоновна. В руках газета. Указывая на фотографию молодой девушки с веревкой на шее, тихонько попросила Розу:

— Прочитай, что тут про нее написано, не вижу без очков.

Белые снежинки на темных волосах, на лице, на сомкнутых ресницах. Тонкая изорванная кофточка, веревка. Мелькают строчки, слова... «Зверски замучена гитлеровскими бандитами...» «Повешена»... «Это было в Подмоскowie, в деревне Петрищево»... «Комсомолка, партизанка»... Роза читает о неизвестной мужественной девушке Тане, которая в лютый декабрьский мороз, босая, полураздетая шла ветру навстречу, к виселице. Потом с помоста, громко, чтобы все люди слышали, сказала, что ей не страшно умирать, что это счастье умереть за свой народ.

— И такой смерти не убоюсь! — шепчет Агафья Тихоновна.

Глядя в одну точку, растягивая каждый слог, Роза говорит:

— Та-ка-я смерть не страшна.

Агафья Тихоновна так и не поняла, отчего же это такая смерть не страшна, а другая страшна. Посмотрела на задумчивое лицо Розы и, недоуменно покачав головой, ушла.

Звонят из военкомата

— Роза, к телефону! Ро-за!

Такого еще не было, к телефону ее никогда не вызывали. Наверное, няня опять ослышалась, и вовсе это не ее вызывают, а Морозову, Клаву Морозову, кастеляншу, а кастелянша только что ушла домой, Роза ее на улице встретила.

Все-таки спустилась вниз, заглянула в кабинет Татьяны Викторовны. Это только для того, чтобы сказать, что встретила Морозову на улице.

Татьяна Викторовна протягивает трубку.

— Бери, бери, тебя просят, — и чуть слышно, — это из военкомата, из городского.

Взяла трубку, смотрит на Татьяну Викторовну, молчит.

— Ну отвечай же! — подсказывает Татьяна Викторовна.

Что-то такое сказала в трубку. Слушала долго, не дыша, молча кивала головой, потом, успокоившись, кого-то поблагодарила и, опустив на рычажок трубку, виновато посмотрела в глаза Татьяны Викторовны.

— Можно сбегать? Тут недалеко, в военкомат вызывают, на минуточку.

Татьяна Викторовна опустила голову...

— Шанина!

— Я!

На этой фамилии заканчивается вечерняя поверка взвода девушек-курсантов.

На новеньких шинелях девушек новенькие погоны. На погонах три буквы «ЦШС». Центральная школа снайперов. А точнее — Центральная женская школа снайперской подготовки имени ЦК ВЛКСМ.

С ужина на поверку, после поверки отбой. И никакого личного часа, программа сжата до предела. Подъем ранний, занятия в поле, занятия в классе, строевая, походы на выносливость, практические занятия по маскировке и очень много другого, обязательного, необходимого, насущного. У курсантов в боковых карманчиках гимнастеров маленькие книжки-памятки ЦК ВЛКСМ. Там очень коротко, хорошо и точно сказано о снайперах. Ну, хотя бы на самой первой страничке: «Снайпер — это специально отобранный, специально обученный и подготовленный к самостоятельным, инициативным действиям боец. Снайпер — это сверхметкий стрелок-наблюдатель, вооруженный точным и могущественным оружием. Это первый, самый смелый и стойкий в бою воин...»

И, наконец, последняя, заключительная строка памятки: «Снайпер — это грозный мститель, всем своим существом ненавидящий врага».

...В казарме тишина. Так и должно быть после отбоя. Устав внутренней службы требует полной тишины. И нарушать устав нельзя. А Шанина его и не нарушает. Никто ее не видит, никому она сейчас не нужна и никому не мешает. Под потолком желтая мигалка. Так прозвали девушки единственную, дежурную слабенькую лампочку. Лампочка отчаянно мигает, когда раздается могучий звонок к подъему. На одном проводе они, звонок и лампочка, что ли. А сейчас мигалка ведет себя спокойно, и света от нее вполне достаточно, чтобы Роза могла закончить свое послание Павлу Маврину. Никто ее не видит, и никому она не мешает. И самое главное — она в безопасности. Лида Вдовина не выдаст.

Павел теперь разведчик. Он на энском фронте, в энском подразделении, на энском направлении. 1419 — это номер

полевой почты Павла. Кто его знает, где это энское направление и где полевая почта 1419. Роза под Москвой, а ведь тоже Павлу придется поломать голову, где это такая полевая почта 8315. Прикрыла книгой письмо, тихонько, на носках подкралась к Вдовиной.

— Лидка, Лидка, — шепчет она, — земляк поумнел под моим руководством, совсем нормальное письмо, про любовь ни-ни!

— Поздравляю, — не отрываясь от книги, вяло отвечает Лида.

— Спросить, где воюет?

— Не скажет, не положено. Ступай спать! — теперь уже строго говорит подруга, потому что за железный порядок в казарме отвечает она, дежурная.

А что поделаешь, если сон не приходит, ведь это же не будильник, с ним просто: накрутил пружинку, установил стрелку — и звоночек по заказу. Это все-таки сон, а в голове столько разных мыслей. Ну, конечно же, не скажет, где воюет, написала домой, что пока она от Москвы неподалеку, вычеркнули.

— Лида...

— Ну что? Будешь ты спать!

— Буду, буду, а что, если земляк просто, как и мы... а пишет, что воюет, что разведчик...

— Сердце защемило, а говоришь, земляк, земляк, — укоризненно качает головой Вдовина.

— Глу-у-па-я ты.

— Умница! Ступай спать. Будь здорова.

За окнами дождь, стрекот мотоциклов, надрывные гудки машин. Лавина моторов движется, движется, и кажется, что не будет ей ни конца, ни края до последнего дня войны. Что-то готовится.

А письмо не получается. Спать, спать. Завтра зачетные стрельбы, завтра показательный инструктаж, и она будет вести самостоятельные занятия с группой... Почему она? Так значит, правда, что ее собираются оставить инструктором школы... Ну и пусть собираются, не для этого она обивала пороги своего военкомата. Выслушают, поймут человека, передумают. Только на фронт. На 3-й Белорусский бы! На самое главное направление... А что теперь самое главное?... Все фронтовые дороги в одну точку нацелены, все они главное направление... Задумалась о своей Едьме. Скоро, скоро вскроется Устья, размахнется и пойдет колобродить. Страшная бывает Устья в половодье. Черная, бурная, ломает запани, разметывая по залитым вешней водой лугам штабеля сплавного леса.

Так и не закончила письмо. И не надо заканчивать, хватит и того, что написано. Свернула листок в треугольник,

проскользнула в красный уголок, чтобы забросить письмо в ящик. В дверях налетела на лейтенанта Савельева, инструктора по оружию. Красная повязка дежурного на рукаве. И держит земля таких. Здоровый мужик, плечам любой архангельский грузчик позавидует, а вот ведь окопался в тылу.

— Персонального звоночка ждете, курсант Шанина? — сязвил Савельев.

Ничего не ответила, повернулась и ушла.

Нет, так не будет!

— Ой, девчата, ой, родненькие, это ж моя Михалувка! Мою Михалувку вызволили!

Все сбежались на крик Тони Смирягиной. В «Красной звезде» нашла она свою родную Михалувку среди множества населенных пунктов, освобожденных войсками 1-го Украинского фронта.

У кого нет своей Михалувки. Город ли это большой, станица, горный аул, хуторок, не обозначенный на карте, — свое это, родное, неотделимое от сердца. Девушки радовались освобождению каждого малого клочка родной земли, а тем более Михалувки, которая в сводке названа. Значит, чего-то стоит эта Тонина Михалувка.

...Шли дни, близились последние контрольные стрельбы на большом полигоне. Так они называли свое, самое обыкновенное, поросшее бурьяном стрельбище.

После занятий зашла в комнатку старшины, давно собиралась спросить Тихонича, куда, по его мнению, отправят девушек после школы. Всем казалось, что нет в школе более осведомленного человека, чем старшина Иван Тихонович Подрезков, потому что каптерка старшины — это такое место, где все дорожки сходятся.

Тихонич хитровато усмехнулся, взглянул как-то странно, исподлобья, откашлялся.

— А собственно говоря, о чем речь? Тебе-то что, куда пошлют? Кого пошлют, а кого не пошлют... Так-то, товарищ ефрейтор Шанина. Понятно?

Она замотала головой. Старшина поднял указательный палец.

— Только, чтобы все тут осталось до поры. Это тоже тебе должно быть понятно. Время военное, и мы тут не гражданские, ефрейтор дорогой Шанина. Так, значит, такое дело... Ну в общем так: хочешь ты, не хочешь, а оставаться тебе в школе.

Что-то в воздухе носилось об этом. Кажется, в столовой впервые услышала, что будто лейтенант Савельев добивается,

чтобы ее оставили при школе инструктором. Не поверила. Отошла тревога от сердца, успокоилась. А теперь старшина об этом...

— Так, значит, тут все и осталось, — предупредил старшина. — Значит, так оно и будет.

— Нет, так не будет, — твердо сказала Роза и вышла, тихо притворив за собой дверь.

Прощай, подмосковное небо!

После торжественного вручения грамот ЦК ВЛКСМ полковник сказал, чтобы Роза завтра, в 9 часов утра, явилась к нему в штаб.

Дружески попрощалось подмосковное небо с девочками. Голубое, солнечное, оно словно ждало этого дня, чтобы сбросить с себя опостылевшие и людям и земле тяжелые тучи. Она шла к штабу, ни о чем не думая, просто шла, прислушиваясь к своим шагам, к утренним звукам оживающего города, к разноголосым гудкам паровозов.

В кабинет полковника шагнула без стука, дверь была нараспашку, а кто стучится в открытые двери. Вошла, остановилась, доложила:

— Товарищ гвардии полковник, ефрейтор Шанина явилась по вашему приказанию.

Полковник предложил ей стул. Удивленно взглянула на полковника, покраснела, отпрянула к окну. Когда он не очень строго, не очень ласково повторил свое приглашение, она поняла, что это почти приказание, и села.

Переводя взгляд с очков полковника на его руки, потом на большую квадратную чернильницу, потом на ножки стола, на елочку паркетного пола, она тревожно думала: «Скорее бы заговорил, может быть, не для этого, страшного для нее, он вызвал, может быть, и другие придут к нему, может быть, так положено, так заведено...»

Полковник снял очки, пошарил ладонью под газетами, под бумагами и, не найдя футляра от своих очков, опустил их на стекло и, откинувшись на спинку стула, попросил, чтобы она рассказала, как там у нее дома, что пишут, о чем думают.

— Пишут, что и всем, — подавив в себе волнение, начала она, — желают победы... ну и, понятно, ждут...

Вспомнился ее детский садик, ее малышовая ночная группа, и она, окончательно осмелев, рассказала полковнику, как тяжело было ей расставаться со своими питомцами, как погибла от осколка фашистской бомбы самая маленькая ее воспитанница

Леночка. Только вчера получила письмо. Молчали с самой зимы, не хотели огорчать. А ведь это очень глупо, когда люди думают, что страшная весть может сломить солдата. Это очень глупо, когда так думают. Потом вдруг вспомнила брата. Его все любили в их большой семье, она в нем души не чаяла... Потом пришла похоронка...

И снова Архангельск, детский садик, Леночка перед глазами. Вспомнила, как она, самая маленькая в группе, верховодила совсем большими и очень бойкими ребятишками, и рассказала полковнику, потому что увидела, что слушает он ее внимательно.

— Любишь ты своих малышей! — тихо сказал полковник.

Она молча кивнула головой.

— Ну и осталась бы с ними. Дело большое, огромное, благородное дело воспитывать ребятишек. Ну скажи ты мне, Шанина, ну кто тебя тащил за эти твои русые косички к снайперской винтовке? Вот именно никто. Так я говорю?

Взглянула в его глаза. Что он, смеется или просто нечего сказать человеку, так он, чтобы не было скучно, надумал позабавиться... Нет, не смеются глаза полковника. Открытые, добрые и очень внимательные эти глаза...

— Вот и сказать не можешь, кто тебя тащил сюда, к нам. Я скажу, сердце тебя привело к нам. А солдат с таким сердцем страшен для врага. От такого солдата живым не уйдешь. Я вот слушал тебя и вспомнил хорошие, умные слова. Некрасовские эти строки. Там у него так, кажется: «То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть». А ты, видать, не устала, ты только теперь начала по-настоящему ненавидеть.

Оставив в покое свои очки, полковник пристально посмотрел в ее глаза.

— Тебя рекомендовал оставить в школе лейтенант Савельев. Командование с ним согласно: стреляешь ты великолепно, строгая, авторитетная. А ты, выходит, от подмосковной прописки отказываешься?

— А я и не собиралась в тылу прописываться, товарищ гвардии полковник: я как и все другие девушки... Не понятно, почему именно меня рекомендовал Савельев...

Сердце билось ровно. Появилась уверенность: стоит на своем — в школе ее не оставят. И опять рука полковника потянулась к очкам. Вот дались ему эти очки! И опять он спросил, хорошо ли она продумала свой ответ, ведь не каждому дано быть инструктором Центральной школы снайперов.

Она поднялась со стула.

— Да, товарищ гвардии полковник, хорошо.

Поднялся и он. Лицо его стало строгим, руки, сжатые в

кулаки, тяжело легли на стекло стола.

— Ну и правильно! Спасибо тебе за это, русская девушка. Люди скажут спасибо. Родина скажет. Уходишь солдатом, вернешься освободителем народов, а это и есть самое высокое звание на земле. Дай мне твою руку, Шанина.

Так с ней прощался отец, когда она уходила в Архангельск.

Дон-Жуан из ЦШС

От штаба две тропинки змеятся. Одна — в поле, к стрельбищу, другая — к казарме.

Пошла вправо, к лугам, к стрельбищу. В последний раз по знакомой, исхоженной тропинке. Луга в испарине. Влажные, напоенные сыростью земной, весенней.

— Стой! Кто идет?

Даже вздрогнула. Оглянулась, а это лейтенант Савельев так шутить изволит. И не поймет человек, что и шутить надо умеючи, так, чтобы хоть чуточку смешно было другому. Ответить или не ответить? А что, если шуткой отмахнуться. Ну и отмахнулась: вспомнила, как в садике с ребятишками играли:

— Коза идет рогатая, бодатая.

Савельев словно не слышал, шагнул ближе, лизнул языком свою верхнюю губу.

— Разрешите пристроиться?

Толчком плеча высвободила свою руку из-под ладони Савельева, отделилась от него, ускорила шаг.

— Розочка!

Не остановилась, даже не взглянула на поравнявшегося с ней Савельева.

— Удивительно у некоторых получается. Чуть на горку поднялся человек, уже не узнать. Между нами говоря, Розочка, пока вы еще не инструктор и не младший лейтенант.

Смолчала.

— А знаете, Розочка, вот и я так думаю, что командование правильное решение приняло. Инструктор из вас получится, это безусловно. Понятно, при соответствующей отработке характера. Будете вести себя, как положено офицеру, по уставу, потверже, без этих самих «Нюша-дорогуша», — дело пойдет.

Тропинка, взлетев на гребень оврага, дугой скатывалась к ручейку. Можно дойти до ручья и вернуться, можно и перешагнуть ручей. Только с разбега. Но это потом, когда она останется одна, без дотошного спутника. Плетется рядом, вздыхает. Вот пристал. Остановилась на краю оврага. И Савельев

остановился. Ну, а что ему оставалось делать. Руки за спиной, шинель нараспашку, полы полощутся на ветру, правая нога выброшена вперед, грудь колесом. Ну просто Наполеон на Поклонной горе. Барабана не хватает под ногой.

— Теперь куда махнем, Розочка?

Ну что бы такое сказать Савельеву, как не поймет, до чего же он противен. Нет, не поймет Савельев. Стоит истуканом, ухмыляется.

Не услышав ответа, Савельев вдруг зафилософствовал.

— Велика наша земля! Где-то баталии, а тут прелесть какая! Тишина, небо синее. Розочка... ну сказали бы что-нибудь такое, соответствующее.

Ей тоже очень хотелось сказать Савельеву что-нибудь такое, «соответствующее». Нет, ничего она ему не скажет, не дойдет: обтекаемый Савельев, скользкий. Думала пройтись вдоль оврага, просто помечтать в тишине, может быть, она последняя в ее жизни, может быть, и неба такого там не будет... Осталась на месте, терпеливо выжидая, чем же все это кончится, когда же отвяжется он от нее. Она услышала его дыхание. Совсем рядом. Потом он сильно сдвинул ее руку, выше локтя, до боли сдвинул. Что-то глухо, заикаясь, пробормотал, потными пальцами сжал ее подбородок, запрокинул голову. Успела увидеть бесцветные, оловянные глаза. Щеки, налитые румянцем. Со страшной силой толкнула его в грудь. Обеими руками. Савельев качнулся, снова подался вперед, к ней. Тогда она его ударила. Наотмашь, звучно, по скользкой румяной щеке. Не то ладонью, не то кулаком. Этого она уже не разобрала. Щека Савельева багровела с быстротой невероятной. Ему бы следовало уйти. Уйти и больше не попадаться на глаза. А он не ушел. Он остался на гребне оврага, чтобы оскорбить человека, чтобы отплатить ей грязными словами за справедливую пощечину. И глупо поступил Савельев. Очень недальновидным оказался Савельев. Получил еще одну пощечину. По той же самой, подрумянившейся щеке. Только эта, добавочная, была куда сильнее первой. И звучней.

...Ручеек на дне оврага оказался совсем не таким, каким она видела его с вершины. Легко, без разбега перешагнула, ступила на тропинку и пошла, не оглядываясь, к школьному стрельбищу, навстречу ласковому, весеннему ветерку.

Дар Ивана Тихоновича

Последняя школьная ночь. Последний заход к старшине за сухим дорожным пайком. Все сегодня последнее. И мигалка,

спаренная со звонком, в последний раз просигналит свою световую морзянку... Утром в дальнюю дорогу. На какой фронт, в какую армию, будут ли они все вместе или разбредутся по батальонам, по полкам, группами, парами, того никто не знает. Пробовали выведать у офицеров, и там ничего путного.

С Екимовой так уговорились: только вместе. Конечно, армия это не школьный класс, где каждый может выбрать себе парту и место, с кем сидеть. Но все-таки они будут добиваться своего. Так условились.

Шумная Саша Екимова вбежала в казарму с какой-то сногшибательной новостью. У нее всегда так. Все свои «в последнюю минуту» Саша выкладывает с шумом, с громом, с грохотом. Лицо совсем округлилось, глаза горят, венчик из кос завалился набок. Оглянулась по сторонам, потом шепотом:

— На Первый Украинский, девчонки, честное комсомольское!

— Точно? — спросила Вдовина.

Немного поостыв, угомонившись, Саша пробормотала:

— Похоже, что туда. На столе дежурного видела.

— Что видела?

— Ну что, ну карту видела, — отмахнулась Саша.

— И что?

— А вот то, — жестко ответила Саша. — На той карте Первый Украинский красным карандашом обведен, в кружочке, это понимать надо.

Лида Вдовина рассмеялась.

— Сашенька, глупенькая, родненькая, да там наступление идет, это наши офицеры карандашиком, а ты подумала...

— А почему наши документы там, с картой рядышком? — не сдается Саша.

— А потому что это штаб. Приветик, Сашенька, до скорой встречи, Сашенька, на энском фронте.

Девушки разошлись. Только они с Сашей в казарме остались.

— Ну ты подумай, Роза, — тихо говорит Саша, — ну подумай сама, а почему это там другие фронты без кружочков. Там ведь тоже наступают...

Чья-то рука легко опустилась на плечо. Оглянулась, глазам своим не верит. Ну когда это было видно, чтобы Тихоныч так приветливо улыбался. Будто подменили человека. И глаза у него какие-то не такие, прищуренные, добрые.

— Ты, Шанина, вот что, ты зайди ко мне, быстренько, чемоданчик потом соберешь, успеется.

Чутьочку мягче стал старшина совсем недавно, вот с того дня, когда перед строем зачитывали приказ о выпуске. Все-таки привык Тихоныч к девушкам, и зря думали они, что человек

отродясь не улыбался. Годы взяли свое. Три войны, три ранения да, может быть, еще что-нибудь другое, разве станет рассказывать человек каждому встречному, что у него на душе.

В каптерке на столике она увидела фанерный ящичек, старательно окантованный железными полосками, рядом листок бумаги, химический карандаш и консервную банку с водой.

— Пиши!

Взглянула на старшину удивленно.

— Пиши, — твердо повторил Тихоныч, — пиши, значит, так: город Архангельск, ну и все прочее.

— А что... прочее? — спросила она.

— Ну, значит, это самое, адресок твоего садика, ну и фамилию твоей хозяйки, или, как там у вас, директора, что ли. Пиши, пиши, только разборчиво... Ну что так уставилась? Удивительно, откуда мне известно? Да я, брат ты мой, если знать хочешь, в кадровом вопросе не хуже, чем в этом вот, в стеллаже своем разбираюсь. Пиши, пиши.

Старшина положил листок на ящичек, хлопнул по листку огромной ладонью, потом спросил, как там в ее садике в смысле сластей, и сам же ответил, что, наверное, не богато, потому что война никого не обошла, всю жизнь перекорежила. Тихоныч говорил, а она гадала, откуда старшина знает о ее садике, о ребятишках ее. Вдруг вспомнила. Это было зимой, старшина печи растапливал в казарме, она рассказывала подругам о своих малышах, о Леночке, а совсем недавно, когда она зашла в каптерку за беретом, спросил между прочим, как там живут ее ребятишки, что пишут из садика...

Старшина объявил торжественно:

— Три кило сахарку в этой таре. Грамм в грамм.

Бережно поставил ящичек на свою койку, отошел в сторону и, не отводя глаз от посылки, спросил:

— Толково у нас с тобой получилось?

— Ага, — сказала она, потому что теперь ее мысли были далеко-далеко от каптерки, у самого берега Белого моря, там, наверху, в просторной комнате ее малышовой, суточной группы. Видно, не пришелся ему по душе такой неопределенный ответ. Нахмурился Тихоныч, вздохнул шумно.

— Что «ага»? Думаешь — старшина, так он это самое, не сказать бы худого слова при девушке, так он, значит, наскреб, поживился солдатским добром? Я, Шанина, сколько уже на своем участке нахожусь, из брюха выдеру у того человека, который казенное добро себе приберег, а ты «ага-ага!», — проворчал Тихоныч. — Вот слушай, что я скажу. Сахаром не пользуюсь. Не принимаю. У меня такая болезнь, что сладостей никаких не

положено. Полковник наш знает. Сахар свой комплектую самым законным образом и одну тысячу пятьсот граммов отсылаю в Омск, Ольге Тихоновне, сестре. В январе моя Ольга Тихоновна у сына своего гостила. Не посылал. Теперь она снова в отъезде, к брату, забралась, за Хабаровск. А там пасека, мед свой. В общем — терпимо, проживет Ольга Тихоновна. А твои пацанята не проживут, без сладкого ребенку нельзя.

Она молчала, потому что, когда слезы подкатываются к глазам, надо молчать. Тогда все проходит.

Горький хлеб

А они-то думали

Машины остановились у контрольно-пропускного пункта. Солдаты проверили документы, заглянули в кузова. Какой-то веселый крикнул:

— Привет, красавицы! Санбатам пополнение?

Другой, тоже веселый, уточнил:

— Наши! Пехота. С винтовочками.

— Ты смотри! — ахнул солдат. — Винтовочки с оптическими прицелами!

Хрюкнули тормоза, машины отчалили от КПП и, набирая скорость, пошли в сторону минской магистрали. Теперь-то уже не надо было гадать да ломать голову, куда ведет путь-дорожка. Пусть говорят, что нынче все направления главные, что все фронтовые дороги на Берлин ведут, все-таки эта, минская, короче других. И прямее. Потому она и самая главная...

Для кого война начинается с траншеи переднего края, для кого издалека, с мертвого покоя стародавних ее следов. На каждом метре минской магистрали отметины свежих боев: ржавые останки машин в кюветах, залитые водой воронки, давно покинутые землянки, траншеи, страшные пепелища, поля в бурьяне. Потом стали попадаться указатели дорог на госпитали, медсанбаты и в разные другие хозяйства. И вот — Ерши.

Воткнулись они своими огарками в самое небо. Неподалеку от Ершей другой населенный пункт — Ковали. Куда им до Ершей! На полевых картах высота Ковалей над уровнем моря обозначена цифрой 76,2, Ершей — 269,9. Вот это высота!

Гитлеровцы за Ерши зубами держались, потому что у каждого в карманчике куртки или под кожаным ободком каски хранилась памятка самого фюрера с таким текстом: «Главная квартира фюрера. 3 января 1943 года. Приказ фюрера: цепляться за каждую высоту, не отступать ни на шаг, обороняться до последнего солдата, до последней гранаты... Каждый занимаемый нами пункт должен быть превращен в крепость, сдачу ее не допускать ни при каких обстоятельствах, даже если она будет обойдена противником. Адольф Гитлер».

Вот почему от Ершей только огарки остались да груды перемолотого, черного от огня камня. Ну и понятно, доблестный гарнизон крепости Ерши. В полном составе. С памятками фюрера в карманчиках зеленых курток. Остался, естественно, не потому,

что этого требовал текущий момент. Гвардейцы батальона реактивных минометов потребовали. Вот и остались защитники высоты Ерши. Навечно. В земле.

Теперь Ершами владеет запасная рота. Ласковый, весенний ветерок окатывает со всех сторон высотку, и тишина вокруг невозможная. На земле и там, за тяжкими тучами, тишина. Отсюда до переднего края не рукой теперь подать, а топать да топать по мертвой, огнем и железом обработанной белорусской земле. Теперь война где-то там, далеко, за лесами, за долами, откуда подкатываются подобные тяжким вздохам неведомого чудища разрывы снарядов: «Уу-ухх, уу-ухх!..» Только по этим вздохам и узнаешь, в какой стороне война. Не все запасные роты на таком отшибе, как эта, куда на рассвете 8 марта 1944 года прибыли девушки-снайперы. Загрустили, когда услышали, что отсюда до настоящей войны, до живых гитлеровцев далеко-далеко. И по расстоянию, да будто и по времени. Когда подойдет это время, командованию запасной роты, как сказал старший лейтенант Авилов, знать не положено, потому что группа снайперов находится в прямом подчинении штаба армии.

— Так что, товарищи снайперы, — поправив ушанку, хрипловато пробасил Авилов, — приступайте к землянкам. Местность тут обшарпанная, голая, маскировка требуется, поэтому никакой кучности, чтобы землянки вразлет, понятно?

Девушки приуныли, притихли. В школе снайперов думали: придут и сразу — на передовую. Не пришлось по душе и командир роты: ну вспомнил бы, что 8 марта — женский день. Не до поздравлений, понятно. Война. Но сказал бы человек хоть что-нибудь обнадеживающее, подбодрил бы, ну вот как тот спецкор дивизионки в кубанке. Привязался в дороге и давай расспрашивать да просвещать. Конечно, же, парень в кубанке многое «загибал», но в общем-то получилось что-то похожее на то, о чем думалось долгими зимними ночами. А этот... ну пусть бы о настроении спросил. Куда там! Посмотрел на свои часы, руки за спину, два шага в сторону и вполоборота, даже взглядом не удостоив, будто рядом, за его спиной, не снайперы с грамотами ЦК ВЛКСМ, а так, бедные родственницы, нахлебницы, продиктовал:

— Так вот, землянки — это первое, святое дело. Строевых сегодня не будет, аттестатики сдать старшине, вещички с местности убрать. Все понятно?

«Понятно, товарищ старший лейтенант», — вздохнув, подумала ефрейтор Роза Шанина.

Строго взглянув на девушек, командир запасной роты ушел. Тоня Смирягина тоненько пропела:

— Ой лихо мне!

Подошли «ветераны» запасной. Шутка ли! Такое и не приснится. Пятьдесят девушек снайперов! С грамотами ЦК комсомола!

Подошли, предложили свою помощь.

— Спасибо! Нам не привыкать! — бойко и непринужденно соврала Саша Екимова. Даже глазом не моргнула, и подруги не рассмеялись по поводу Сашиного хвастовства. А солдаты поверили, только один, уже не молодой, видно, бывалый, разглядывая свою самокрутку, чуть ухмыльнулся и, покачав головой, сказал:

— Ну-ну, посмотрим.

Еще в школе девушки твердо решили принять на вооружение полную независимость от мужчин. И самостоятельность. Во всем! В самом трудном. Они не какие-нибудь зелененькие, а самые что ни на есть полноценные, готовые в огонь и на смерть солдаты. Вот только землянки... На школьном полигоне отрывали стрелковые окопчики, гнезда. Это просто. Несколько бросков лопатой — и укрытие готово. Перед самым выпуском девушкам показали, как выглядит землянка. В разрезе. Белым по черному. На классной доске, мелком. А тут лопатой надо работать. Киркой. Тут и камень, и глина под ногами, хлюпает, тут сам леший лапы переломает, пока до сухой земли доберется.

Сержант, принесший лопаты, посоветовал отрывать землянки где посуше, земля податливее. Чем-то он походил на школьного старшину. Может быть, усами. Рыжеватые, щеточкой, старательно подстриженные, сам мешковатый, чуть сутулый. Сбросил на землю лопаты, вытащил из кармана ватника старенький, расшитый васильками кисет и принялся старательно изготавливать долговременную, как говорят солдаты, махорочную самокрутку.

— Стало быть, все до единой снайперы, — ни к кому не обращаясь, произнес сержант. Щелкнула зажигалка, следя за уплывающим в сторону дымом, сержант повторил тверже: — Стало быть, снайперы! Надо же! — Покачав головой и сбросив ватник, взялся за лопату. Работал он ловко и споро, словно только и ждал этой встречи с застывшей, покинутой людьми землей.

...Девушки так думали: запасная рота — это на крайний случай, когда потребуются свежие, еще не обстрелянные тыловики. Удивились, когда услышали от сержанта, что все в роте — народ фронтовой, что многие были ранены еще в боях под Москвой, первыми вступали в Ржев, в Смоленск, что старший лейтенант Авилов — это не просто командир запасной роты, а

знаменитый разведчик дивизии, а здесь, в запасной, временно, после очень тяжелого ранения. И все тут временные, и никому в Ершах загорать нет охоты, и хлеб тут «горький», потому что война для врага в самую страшную пору входит. И еще, это уже по секрету сержант сообщил девушкам, что теперь старший лейтенант Авилов «будет психовать до новой комиссии». Был вчера Авилов в сан-отделе, оставили в запасной, а докладную из дивизии вернули Авилову, потому что человеку окрепнуть окончательно надо.

Запасная рота — тихая пристань

В Ерши генерал только для того и заехал, чтобы посмотреть, как стреляют девушки, в форме ли все они снайперской, потому что близилась отправка снайперов в батальоны его дивизии.

На полянку высыпало все население запасной, даже ротный повар пришел. Зрелище готовилось неслыханное, ну и, конечно же, невиданное. Целый взвод снайперов-девушек на линии огня! — такое раз в жизни можно увидеть.

Отстрелявшись, девушки принесли свои мишени генералу. Он рассматривал каждый листок внимательно и приговаривал: «Славно, славно». Мишени пошли по рукам. Было чему дивиться! Все десять пуль оставили след в черном яблочке каждой мишени.

Комдив подошел к девушкам, кивнул головой в сторону передовой:

— Они теперь бегают, шустрыми стали, так вот, забыл я спросить, как вы сильны по бегущим. Ну скажи, ефрейтор, — обратился генерал к стоявшей неподалеку Шаниной, — скажи, как там у вас в школе по этому предмету получалось, были отличники, пятерочники? Только по-честному, предмет трудный, да еще когда мишень на всю железку запущена. Ну, так как, есть такие, пятерочницы? — спросил он у густо покрасневшей Розы.

— Ага, товарищ генерал, есть такая! — ответила за нее Саша Екимова, мгновенно, твердо, будто только и ждала такого вопроса.

— Кто же она такая? — глянул генерал на Сашу Екимову.

— А вот она, товарищ генерал, наша Шанина, — выпалила Саша, — у нее грамота за поражение движущихся мишеней, товарищ генерал, а благодарностей сколько! — Позабыв о самых простейших обязательных нормах поведения солдата, Саша подняла с земли маленький, с грецкий орех, камешек. — Вот такие, товарищ генерал, такие, сама видела, на лету сшибает!

«Не подумала, сболтнула, предала верную подругу. Кто знал

в школе о камешках? Только она, верный друг Розы, потому что это совсем не цирковой номер, потому что Роза Саше призналась, что это она себя испытывает и что каждый человек может сделать, что задумал. Потом еще Роза строго предупредила: „Смотри, не болтать! Скажут, глупостями занимается Шанина“. Конечно, ей теперь достанется от подруги. Ну и пусть, — думает Саша, — а генерал должен увидеть своими глазами, что может сотворить ее самая близкая подруга. Да разве ж можно скрывать такое от Героя Советского Союза, от боевого командира прославленной дивизии!»

— Можешь? — негромко спросил генерал Розу.

— Могу, товарищ генерал, — протяжно, по-северному окая, ответила Роза, и по красивому, вдруг побледневшему ее лицу скользнула недобрая улыбка. — А к чему это, товарищ генерал? — спросила девушка.

— Ты смотри, — взглянув на Авилова, прищурился генерал, — ты смотри какая! «К чему» — спрашивает. К тому, — обращаясь теперь уже к Шаниной, сказал генерал, — что понимаешь, столько лет на свете прожил, три войны прошел, а чтобы пуля такой орешек размолотила в воздухе, не видел, понимаешь, не видел. Пожалуйста, можешь — стрельни для меня, не можешь — не надо стрелять, я тебе на слово верю.

Наступившая тишина отозвалась толчком в сердце. Шагнула в сторону, подняла камешек, молча, движением руки подозвала плечистого молодого солдата и, толчком ладони загнав патрон, сказала:

— Бросай, когда скажу! Да не в зенит, бросай под углом и чтобы свистело. — Молча указала солдату место для броска, вскинула к плечу винтовку.

— Бросай! — отчетливо прозвучало в тишине.

Пуля раздробила камешек на стремительном взлете. Солдаты ждали выстрела попозже, когда брошенный, словно из пращи, камешек сбавит скорость на вершине траектории. Так думал и генерал, даже Саша Екимова была уверена, что пуля сойдется с бысролетной целью где-то там, дальше и выше, в мертвой точке дуги.

Произошло немыслимое, неожиданное, невиданное. Авилов сказал девушкам, что генерал остался доволен их стрельбой, а они приуныли, загрустили. Думали, что с приездом комдива в запасную все переменится, что теперь-то кончится тягостная жизнь в опостылевших Ершах. Для того и старались на стрельбах, переживали, пожалуй, посильнее, чем в школе на инспекторских. Приуныли девушки, а солдатам показалось, что это они от тоски по дому, да еще оттого, что впереди предстоит. А тут еще

вдобавок шуточки пошли разные, солдатские. Не злые, совсем даже не обидные. «Приветик, беретик!» или «Как жизнь запасная?» Ну что в этом злого? Привезли для девушек береты. Синие, суконные, со звездочками. Хорошие такие береты, ветром не смахнет, и все-таки это берет, а не какая-нибудь пилотка второго срока службы. Не сами придумали, выдали им такие головные уборы. Так и записано в вещевой книжке: «головной убор», а не берет. А они переживают, девушкам кажется, что нет в жизни ничего невыносимее, чем это осточертевшее «Приветик, беретик».

Война откатывалась от Ершей, только с попутным ветром доносились теперь, да и то редко, приглушенные расстоянием далекие-далекие выстрелы наших дальнобойных. Радуюсь успехам наших войск, девушки со дня на день ждали отправки на передовую. И когда Авилов как-то мимоходом спросил Розу, почему это все девчата, будто сговорились, разом перестали писать домой, Роза, горько усмехнувшись, сказала:

— И вы, товарищ старший лейтенант, еще спрашиваете! Ведь стыдно же писать, что мы торчим на этой тихой пристани, когда люди воюют.

Авилов смолчал, потому что и сам возненавидел запасную. Со дня на день ждал, что примут во внимание его рапорты и отправят на передовую.

Недалеко от Ершей в сизой дымке речушка виднеется. Извилистая, непутевая. Белорусы говорят, речка историческая, знаменитая речка, от нее Витебск получил свое название. Он в древности, а об этом свидетельствуют летописи, Витьбеском был, от Витьбы так назван, на месте ее впадения в Западную Двину обосновался. Вот что утверждают белорусы. А девушкам сейчас это безразлично: Витебск или Витьбеск, им бы поскорее из Ершей выбраться.

Вокруг мертвая земля, пепелища, ледяющие душу следы недавних боев. Все искромсано, разбито, выжжено. Только печные трубы торчат над черной землей, напоминая прохожему солдату, что здесь когда-то люди жили, были деревни.

Тишина. Даже птиц не видно. А ведь март, солнышко прогревает. Редко проползет заплутавшая полуторка. Спросит водитель на ходу, как отсюда на твердую дорогу выбраться, далеко ли отсюда до КПП, — и пошел, и пошел своей не обозначенной на полевых картах зыбкой, временно прописанной на земле фронтовой дорогой.

Порой забредет легко раненный солдат, передохнет, перекурит, просушит портянки, заправится разогретым концентратом и снова в путь-дорожку до ближайшего

перевязочного. Спросят солдата, как там «на передке», что слышно, что видно, а он, вместо того чтобы со знанием дела просветить тыловиков, — сам допытывается, расспрашивает, как там, стоим или продвигаемся? Ну, конечно же, солдату скажут: «Помаленьку продвигаемся, ждем помаленьку». Совинформбюро в эти дни так расшифровывает это «помаленьку»: «Юго-восточнее Витебска наши войска вели упорные бои по окружению большой группировки противника».

А что может сказать солдат, пришедший с переднего края? Ничего. Траншея первой линии — это не КП дивизии и даже не НП батальона. Из траншеи далеко не увидишь, что к чему не разберешь.

Вот танкисты — народ осведомленный, у них горизонты широкие, они всюду первыми поспевают, им с башни виднее. Неподалеку от Ершей тридцатьчетверка «загорает». Что-то с двигателем случилось, запросили по радиации буксир. Услыхали девушки, что танкисты только-только из боя вышли, — и туда, в низину, к танку. Все-таки капелька войны. Роза осталась в землянке, Саше сказала:

— Подумаешь, невидаль, танкисты, много они тебе скажут. — Растопила печурку. Тяги никакой, все дымом заволокло, это оттого, что труба — одно название. Корявая, безобразная. Саша притащила с пепелища кусок пробитой пулями ржавой железяки, скатала, опутала проволокой и в землю воткнула. Теперь солдаты посмеиваются. Ну и пусть посмеиваются, у них трубы не лучше и в землянках не теплее.

Тоненько напевает весенний ветерок свою нескончаемую, тихую песенку. Холодно в землянке, сонно подмаргивает желтый огонек светильника, глаза смыкаются, не о чем думать не хочется... Где-то наверху баян всхлипнул или аккордеон, или просто ей почудилось...

Последняя ночь в Ершах

Последняя ночь в запасной... О чем думала она в ту последнюю ночь в школе... Кажется, о матери. Странно, почему-то только о матери. Вот и теперь она перед глазами. Тихая, все о чем-то думающая, маленькая. Тонкие седые волосы собраны в тугий пучок, на плечах косынка. Серая шерстяная, та самая, которую Сергей подарил перед уходом в армию. Где-то он теперь? И дома не знают, где он, так давно не было писем с фронта. Саша протягивает руку к светильнику.

— Пусть горит, Сашенька, не гаси, скоро утро.

Саша подняла руку, провела ладонью по холодной земляной стенке.

— Прощай, родненькая земляночка, — ласково поглаживая землю, вздыхает Саша, — закончим войну, придут люди, засыпят тебя, и никто не узнает, что жили тут... Роза, спишь?

— Да ну тебя, Сашка, с твоими песнями! — отвернувшись к стенке, сонно бормочет Роза. — Спи или молчи.

Проснулась Роза от страшного грохота над головой, выбежала из землянки. В синих предутренних сумерках разглядела танк. Ревет, вертится в дыму, никак не может выволочь за собой на дорогу вторую машину. Ошалели ребята, не видят разве, что землянки рядом. И Саша выбежала.

— Э-эй! Поосторожнее можно? — крикнула вслед уходящей машине.

Танк скатывался к дороге, уводя за собой вторую, вчерашнюю машину. Еще не опустилась крышка люка, еще отчетливо можно было рассмотреть лицо танкиста, завиток темных волос над бровью, глаза. Роза увидела это лицо, вспомнила, узнала, взмахнула высоко поднятой рукой, потом долго-долго смотрела на дымный след машины, не двигаясь, притихшая, с поднятой рукой. Опустила руку, когда увидела Сашу рядом с собой, ее глаза, удивленные, большие:

— Кого это ты... провожала?!

— Так, никого, — тихо ответила Роза, — показалось. От тоски всегда кажется, Сашенька, смешно, правда смешно?

— Что смешно? — не поняла Саша.

— Когда кажется, всегда смешно. Ну, понимаешь, показалось, будто парень знакомый на танке, вот и все.

— Это который на башне, черный такой? — спросила Саша.

— Ага.

Саша руками всплеснула.

— Ты что! Он под Сталинградом воевал, представляешь? Сталинградец! Три ордена! Командир танка! Все проспала на свете, а теперь кажется, кажется, это у тебя, Розочка, от Ершей наших.

— Ладно уж, молчи, — вздохнула Роза, — пошли досыпать.

В землянке Саша сонно спросила:

— Думаешь, знакомый? Да?

— Ничего не думаю, спать хочу, будь здорова, Сашенька.

...Тоненько поет весенний ветерок в трубе, сон не приходит, мысли кружатся, кружатся, все дальше бегут от землянки, вот и зеленый берег Устьи, белая северная ночь, тихая, чистая, раздушенная травами, немножко тревожная, потому что завтра — в Шангалы, в райком. На комсомольском собрании ей поручили

выполнить одну работу. Сидела до ночи, списывала с карточек, у кого какие заработки по трудовням, в прошлом году, в позапрошлом. Потом отец пришел, заглянул в тетрадку, сказал: «Так ты и для меня выпиши, кряду за три года, это тебе, дочка, партийное поручение». Потом он еще сказал, что цифры сами по себе, отдельно за тот год, отдельно за этот, может быть, и ничего не скажут, а если их сдвинуть рядом — заговорят. «Вот тогда, — сказал отец, — тогда сама увидишь, как жизнь наша в гору пошла».

Всегда так: что-то не ладится — подоспеет отец, растолкует, и глаза открылись, и работа пошла веселее...

Тоненько поет ветерок в трубе, будто встречный, только тот был теплый, летний, когда она мчалась в Шангалы на попутной полуторке со своим школьным черным портфельчиком, распухшим от карточек с колхозными трудовнями. Первую половину дороги она тряслась тогда в кузове. Все трясутся, кто ездит на попутных. И за это спасибо водителю. Устроишься поближе к кабине — и никакая тряска тебя не проймет. Это когда в кузове нет бочки. А в кузове бочка. Железная пустышка из-под масла. Грязная, черная, страшная. А платье новое, крепдешинное, подарок брата, первый раз ради такого случая надетое. Болтается бочка от борта к борту, гремит, кувыркается, но куда невыносимее ошалевшей бочки — поведение водителя. Рядом с парнем свободное место в кабине. Так что же оно святое, неприкосновенное? Или этот кудрявый цыган думает, что девушка в новом платье только и мечтала, как бы с грязной бочкой в одном закутке прокатиться! Был бы культурный человек, — сказал бы по-человечески: «Прошу, девушка, в кабину, место свободное». Все-таки культура — это великое дело, — приходит она к выводу, поглядывая с опаской на бесноватую бочку.

Он спросил с издевкой (конечно же это ей показалось): «Как жизнь молодая, девушка?»

Ну что было ответить такому необразованному! А он поставил ногу на скат, положил локти на ребро борта, ухмыльнулся. И очень глупо это у него получилось. Это она так тогда подумала, что глупо. Просто улыбнулся парень. А потом вдруг спросил: «Бочка моя цела?» Только взглянула, как ножом полоснула. А он говорит: «Хочешь, давай перебирайся в кабину, там спокойней!» Подумала: отказаться от кабины, чтобы доказать парню, что есть на свете гордые девчонки, так ведь до него не дойдет, а впереди еще половина дороги. Ну и пересела.

Волосы у парня черные-черные, густыми завитками на лоб спадают. И глаза, кажется, черные. Так и решила — цыган. Потом

заметила полосатый уголок тельняшки на груди, на правой руке синий кораблик с надписью на борту: «Федя». Не удивилась, просто решила: парня зовут Федей и мечтает этот Федя о вечной славе, о бессмертии. Ну и пусть мечтает, пусть называет корабли своим именем. Лицо цыгана упрямое, скуластое и все-таки это красивое лицо. Да только к нему оно не пристало. Не стоит человек такого лица.

Она-то взглянула, а он — нет. Будто бочка с ним рядом из-под масла. Ну и что ж, ну и пусть не смотрит, не велика беда. Потом он сказал: «А ты бы авоську подхватила на коленки, болтается тут под ногами».

Хотела сказать, что сам он авоська, без души и без сердца. Не сказала, другое получилось, просто просветила человека, сказала, что это портфель, а не авоська, а потом многозначительно добавила: «Понимать надо!» Да только он ничего не понял, потому что еще хуже ответил: «Ну так барахлишко подбери, работать мешает». Не осталась в долгу: «Знал бы ты какое это барахлишко!» — «Таньга?» — весело спросил парень.

А что такое таньга — она не знала. Взглянула на парня, он сразу догадался, что не знает, ну и объяснил, что таньга — это деньги, а потом еще сказал, что культуры у нее маловато. Посмотрела на его руку, сильная, загорелая, кораблик синий, буквы синие, и сказала, что в голову пришло: «Федя, а ты злой человек». Парень рассмеялся: «Федя! Ха! Вот придумала курносая. Дидо я Ди-до!»

И рассказал, что в этом имени целая его родословная, что, во-первых, если полностью, так он Дидо Дмитриевич Орлов, а Дмитрий и Дина Орловы — это его папа с мамой, вот и получился Дидо. И с грустью добавил, что теперь он вроде справочного бюро на собственном ходу. Привык. Взглянул на синий кораблик и рассмеялся: «А-а, вот почему ты Федей меня назвала! Это мечта моей жизни...»

Потом Дидо вдруг запел: «Если завтра война, если завтра в поход, если темная сила нагрянет...» И спросил: «Знаешь, кто будет тогда перед моими глазами? Живой Федя Клочихин». И опять не обошлось без подковырки. «А ты не знаешь, кто такой был Федя Клочихин? Нет? Так и думал. Те-мно-та. Будешь в Вологде, зайди в краеведческий музей, там все узнаешь. Отважный был Федя. В девятнадцатом году двести пятьдесят комсомольцев повел Федя на Колчака, воевал геройски, погиб геройски, а ему и восемнадцати лет не было».

А когда приехали в Шангалы, Дидо спросил: «Тебе куда теперь, в раймаг или в кино?» А когда она сказала, что приехала по вызову в райком комсомола, лицо парня смешное стало, очень

удивился, что такую девчонку в райком вызывают, да еще с портфелем. Сказал еще что-то, она не расслышала, громко фыркнул мотор, а он из своей кабины прокричал: «В одиннадцать ноль-ноль буду у моста, на той стороне, могу прихватить». Пока придумывала, как бы ответить, чтобы не задавался человек, он уехал. Только пыль взметнулась из-под колес.

...Сдала свою работу, вышла из райкома, постояла, подумала и так решила: свет не клином сошелся на полуторке с бочкой, да и радости мало с таким задавакой рядом сидеть. Ученый выискался: культуры, говорит, маловато, темнота, курносой обозвал. Ну конечно же, задавака. Вот только о мечте парень хорошо сказал, сама так думала.

Дошла до мостика и остановилась. Тут самое подходящее место для посадки, машины перед спуском притормаживают, можно даже на ходу вскочить в кузов, только бы водитель позволил. Синяя эмка не остановилась. Ну и не надо, добрых людей куда больше на свете, чем таких. Перешла мостик, вышла по тропинке на Богдановский тракт, даже не оглянулась назад, это ни к чему, увидит из своей кабины — подумает еще, что девчонка ждет не дождется. Совершенно не к чему оглядываться. А вот когда за спиной, совсем рядом дико завизжали тормоза, — оглянулась.

«Ну, поехали?» — весело спросил Дидо. И она вдруг улыбнулась и сказала: «Ну, поехали».

Она первая заговорила, спросила, какое у него образование. Посмотрел на нее, рассмеялся: «У меня-то? Ха-ха, вполне законченное образование, полное среднее, семь классов, три года за баранкой, всего десять. Ну чего так смотришь? Труд ведь это тоже в зачет, каждый день голову ломать приходится. Кончилось вчера масло в нашей мастерской, и лимит кончился. Директор в панике, механики по домам, а что поделаешь, станки без масла, как мотор без бензина, тут я и говорю начальству: выколочу. Слышишь, бочка притихла, не барахлит, тяжелая, с маслом. Выколотил».

Ей показалось, что Дидо очень доволен своей поездкой в Шангалы, что он сейчас и, правда, как школьник, который ответил урок на пятерку. Спросил, сколько ей лет, сказал, что ему восемнадцать, что осенью в армию уйдет и обязательно в технические войска, потому что так задумал, потому что человек обязан добиться своего, если задумал. Потом он стал рассказывать, как весной монашку подобрал в дороге. Пожалел старуху. Загуляла монашка, в обитель опаздывала к проверке. Всю дорогу сладко похрапывала в кабине, а когда проезжали Едьму, очнулась, будто ее током ударило. Взглянула на большой дом,

что-то пробормотала, креститься стала, как заводная, глазами заморгала. «Заметная твоя школа, четырнадцать окон насчитал по фасаду. Мощная школа», — закончил свой рассказ о монашке Дидо. Тогда она ему растолковала, что это вовсе не школа, что ее школа в Березняке, а это дом-коммуна, первые коммунары его строили, и даже рассказала все, что слышала от отца о грозных и тяжких первых днях жизни коммуны. Рассказала, будто хорошо выученный урок ответила. Дидо ухмыльнулся. «Ну сильна, где это ты вычитала?» — «В своем доме, вот где!» — неожиданно для себя громко крикнула она. Можно было бы и потише ответить, совсем тихо: машина бесшумно катилась под гору, мотор чуть дышал. Конечно, можно было, да только не в ту минуту, когда так неожиданно подоспел случай расквитаться с парнем за все его шуточки обидные. «Я родилась в этом доме, понимаешь, в этой коммуне! А ты — „где вычитала, где вычитала“». Она откинулась на спинку сиденья, покачала головой, как он тогда, и с удовольствием проговорила. Тоже как он тогда, по складам: «Темно-та».

Дидо смущенно улыбнулся, горько вздохнул: «Что верно, то верно, от шести классов не засветит». — «А говорил, что семилетку закончил», — тихо сказала она. «Говорил, говорил, — опять нахмурился Дидо, — на лбу не написано, может быть, и все десять, может, и больше, всякому пассажиру признаваться не намерен». — «А мне вот признался», — с какой-то затаенной гордостью проговорила она. «Ну и признался», — едва кивнув головой, ответил Дидо.

Потом они оба молчали. Ей показалось — долго, долго молчали. Загадала: не заговорит парень с ней до той, самой высокой сосны, ну и не надо, ну и она будет молчать до Едьмы, а то, может быть, и там слова не скажет, когда он такой чудной. А когда мелькнула за окном та самая, загаданная, заговорила все-таки, спросила: «Ты всегда такой?» — «Какой такой?» — улыбнулся Дидо. «Ну, такой... смешной ты, как ветерок, пошумел и затих». Сказала и покраснела, лицо будто огнем обожгло. И совсем он не смешной, на смешных смотреть противно, они глупые, потому и смешные. Этот — настоящий парень, другой бы на его месте в долгу не остался, а он молчит, конечно же, думает, за что она его смешным обозвала. Удивилась, когда вдруг услышала: «День физкультурника близко, приедешь в Шангалы?» Смутилась, покраснела. Думала, что ему ответить.

За ручьем, у тропинки машина остановилась. «Вот и приехали», — оборвал ее мысли Дидо. Она хотела сказать что-то на прощание и не сказала, он молча включил мотор, приветливо взмахнул рукой. Она тоже подняла руку. Потом долго-долго

смотрела на пыльный след машины.

...Тоненько поет ветерок в трубе. Будто встречный. Только тот был теплый, ласковый. Приподнялась на локте, чтобы погасить светильник, взглянула на Сашу, ахнула. Ладонь под щекой, глаза открыты.

— Ты что не спишь?

— А ты? — тихо спрашивает Саша.

Роза тихо улыбается, гасит свет, сквозь набежавший сон Саша слышит:

— Я, Сашенька, дома была, только-только вернулась.

Юго-восточнее Витебска

Ну, а где же война?

На вечерней поверке комроты объявил:

— Завтра в батальоны.

При этих словах в воздух полетели синие береты, Девушки радостно улыбались: очень уж надоела им запасная.

...До передовой добирались с помощью всех видов транспорта, который существует на фронте. Кроме воздушного. Немного на попутной самоходке, на полуторке, в машине полевой почты, потом девушек подобрала «санитарка». Мотались, мотались в «санитарке», подъезжали к каким-то большим блиндажам, спускались в овраги, буксовали на подъемах и, наконец, слышали голос сопровождающего, фронтовика-сержанта:

— Вы-ы-гру-жайсь!

Подхватили вещевые мешки, выгрузились. Подумали: все, кончилась болтанка, прибыли. Куда там! Оказывается, водитель санитарки — человек с упрямым характером — не послушался сержанта, нырнул в лесную просеку, вот она и увела машину в сторону.

— Тебе, друг, на похоронном транспорте трудиться, там как раз такие скоростники требуются, — выговаривал сержант водителю.

— Топай, топай, экскурсовод, — проворчал водитель, захлопнул дверцу кабины, и машина медленно уползла в темную щель лесной просеки.

— Пошли, что ли? — тяжело вздохнув, сказал сержант.

Девушки, молча закинув за плечи вещмешки, винтовки, вымешивая тяжелыми сапогами липкую, тягучую глину, выбрались на едва заметную твердую тропинку. Но она вскоре оборвалась, уткнувшись в жуткие, черные квадраты прибитой дождями, густо замешанной на углях глины. Квадрат за квадратом, один побольше, другой поменьше, по углам черные валуны. В подпалинах, в трещинах. Скрюченные скелеты кроватей, чудом уцелевшая печь. Ветерок, тихий, теплый, повесенному ласковый, бродит сиротой над пепелищем.

Что ж, подружки, спешили к настоящей войне, дни считали. Вот она. Бывает, земля плавится в огне, люди глохнут от грохота адового, а бывает — сердце свое услышишь в этой тишине. Тишина переднего края особенная, коварная, тут гляди в оба,

если не хочешь отдать свою жизнь господу богу без пользы, без смысла. Не зря сержант подал команду рассредоточиться, поторапливаться. Второй год воюет сержант в батальоне капитана Кушнина, бывалый.

Вот и рассредоточились, шагов на двадцать одна от другой. Прошагали мимо черного от огня вспоротого бронетранспортера. На вспученной боковине черный крест с белой обводкой, под колесами обгоревшие каски, круглые коробки противогазов.

Тишину разорвал протяжный, ноющий посвист в небе. Где-то далеко-далеко прокатился по земле глухой, могучий вздох. Сержант крикнул:

— Наши, дальнобойные! По тылам шуруют!

Невдалеке грохнул снаряд, над землей взметнулся грязный фонтан, синий клубочек дыма. Второй снаряд разорвался на другом конце полянки. Потом третий, четвертый, пятый... Снаряды рвались у подножия заброшенного песчаного карьера, пробуравленного темными входами в блиндажи. И вдруг все затихло. Сержант сказал, что теперь можно подтянуться, что по два захода кряду не бывает, а этот артналет для порядка, чепуховый, не такие были вчера.

Девушки не знали, какие еще бывают артналеты, какой был вчера и почему этот чепуховый. Достаточно с них и такого на первый раз. Сержант круто свернул к карьеру, подал знак рукой следовать за ним, и вскоре они очутились в просторной и самой настоящей комнате. Это была обыкновенная деревенская изба-четыrehстенка, глубоко вдавленная в землю. Бревенчатые стены, окна, аккуратно зашитые досками, кафельная печь, потемневший от времени потолок, пол из широченных досок. Круглый стол на толстых резных ножках, диван, обитый ковром, стулья с кожаными спинками, в углу вешалка с тремя рогами, никелированная двуспальная кровать с горой пуховых подушек...

Сержант убежал за комбатом, вслед за ним покинули подземный терем и девушки. Раскритиковав резиденцию комбата, перешли к обсуждению «чепухового» обстрела. Конечно же, было страшновато: наверняка немцы били из полевых пушек, самое большее из пятидесятипятимиллиметровок. Это значит, батарея совсем недалеко, а траншеи врага еще ближе. Роза сказала:

— Про это комбату ни слова, молчок, девчонки, нам не привыкать, понятно?

— А ну в укрытие! Жив-в-во! — услышали они рядом уже знакомый простуженный басок своего сержанта. — Накроют в два счета, а отвечать кому? С меня спросит комбат. Живо, живо сматывайтесь! — басил сержант.

Когда спустились в укрытие, сержант сказал, что комбат на

НП, что на той стороне сабантуй готовят, а пока все они могут располагаться на отдых и чтобы туда (сержант кивнул на дверь) ни одна душа не показывалась.

— Ну, а если что надо, — при этих словах лицо сержанта стало багрово-глянцевым, — если что, так вот в ту дверь, там ванна и все прочее.

Девушки переглянулись, Саша, удобно устроившись на диване, тихо, но так, чтобы сержант слышал, заключила:

— А в общем, девчонки, жить можно, ванночка, пуховички...

Опустил голову сержант, помолчал, взглянул на Екимову и, шумно вздохнув, сказал:

— Там у нас, на краю, могила братская, двенадцать наших там ночью нынешней хоронили, после боя, когда фрицев отсюда вышибли... Вот оно как, в общем как в песне, четыре шага до смерти от этой хоромины, а то и поменьше... кому как...

В засаде

Бегут, торопятся, поблескивают на солнышке весенние, говорливые ручейки. Иной заюлит, запетляет и в воронку от снаряда. Тогда зеркальце получается. Круглое, блестящее. Это если смотреть издали, вот отсюда, с огневой позиции снайпера, из воронки от 152-миллиметрового снаряда. Такую ямищу одному маломощному ручейку не залить. А вот другие воронки, те, что поменьше, удивительно быстро заполняются. Почва глинистая, плотная, вода задерживается, и зеркальца получаются дивные.

Здесь шел бой. Земля вздыблена, вспорота, будто клад в ней искали тысячи людей. Воронки, воронки. Разные — глубокие, мелкие, от мин, от снарядов, бомб. Следы боя на каждом шагу, на каждой пяди истерзанной, развороченной, опаленной земли. За спиной свои траншеи, перед глазами — вражеские. И танки вражеские, с пушками, врытые в землю до башен. А за всем этим — лес. Посечен зверски, но и теперь еще можно угадать следы его первозданной красоты. По прямой от воронки, в которой укрылась Роза, — просека через весь лес. В самое небо упирается. Поперек просеки дорога. Единственная для немцев проезжая дорога. Только по ней и можно передвигаться в пору весенних дождей и разливов. Здесь они протаскивают боеприпасы, продовольствие на телегах, а то и без лошадей, волоком.

Утром гитлеровцы сделали несколько попыток спровоцировать русского снайпера на неосторожный выстрел. Снайпер не раскрылся. Потом забросали минами все

подозрительные, возможные для снайперской засады районы нейтральной зоны. А через какое-то время на лесной просеке — второй убитый гитлеровец.

Солнце подпаливает старательно. Бегут, торопятся ручейки. «Только бы не сюда», — с тревогой думает Роза. Может ведь такое случиться. Свернет какой-нибудь взбалмошный к ее воронке и пойдет и пойдет отливать зеркальце. Куда тогда деваться. О выходе из укрытия среди бела дня и думать невозможно. Рука онемела без движения, ноет, все тело ноет, глаза болят от дыма. Только что немцы своими вонючими минами прощупывали поле. Совсем близко рвались мины. Еще не растворился сизый дымок над землей. Столько часов в глиняном мешке. Терпи, снайпер, и молчи. Молчи, если даже вражеская пуля обожжет твоё тело, если от боли зайдет в твоё сердце. Сама избрала из всех работ эту, никто не неволил, сердце привело. И оно должно теперь молчать, молчать, молчать...

Что-то прошуршало за плечами, быстро оглянулась. Она и забыла о своей напарнице. Жива ли Саша? Толкнула локтем.

— Жива?

— Ага. А что?

— Все. Проверочка.

Немного подавшись вперед, Роза припадает к зрачку оптического прицела. Саша не дыша, очень осторожно, чтобы не задеть подругу, подносит к глазам бинокль. За деревьями мелькают двое гитлеровцев. Вот один уже в просвете просеки. Остановился, оглядывается по сторонам. В руке свернутые носилки. Шагнул в сторону, потоптался на месте, снова шагнул. Вот он, на виду! А выстрела нет. Саша удивленно смотрит на подругу, потом на вороненое кольцо мушки. Будто каменное изваяние рядом, а не живой человек. Ну глазом моргнула хоть бы. Снова к биноклю. Затаила дыхание, даже зубы стиснула до боли. Почему молчит, почему тянет, почему нет выстрела? Уйдут, уйдут ведь за деревья, и пропала цель.

Глухой хлопок выстрела. Задний качнулся, но носилки не выпустил из руки. Стремительный бросок затвора — и следом вторая пуля. Теперь на белорусской земле четверо. И тот первый, убитый на заре, и коновод и эти двое, пришедшие за трупами своих соотечественников. Четырмя оккупантами стало меньше в это солнечное, апрельское утро.

О шанинских дуплетах по движущимся целям в школе знали все. Но то школа. И фашисты там были фанерные, на проволочках, безобидные. Об этих удивительных дуплетах знала и Саша, да только не привелось ей видеть, как это получается. Теперь увидела. Два выстрела с одного дыхания.

Переливаются серебром ручейки, где-то правее строчит пулемет. Без передышки. Всю ленту раскручивает. Ухнуло дальнобойное...

Двенадцать часов в глиняном мешке, двенадцать часов без движения, не отводя глаз от лесной просеки. Жгучая боль в глазах, нестерпимая. А глазам еще смотреть да смотреть. До захода солнца смотреть. Саша подымает голову и, легонько толкнув подругу, показывает взглядом на небо. Первая живая птица на этой земле! Роза следит за полетом голубя по всей трассе, до леса.

— Не заметила, откуда шел?

Саша кивает головой в сторону своих траншей.

...Вечером, докладывая командиру батальона о результатах охоты, Роза рассказала и о полете голубя. И пошло по ступеням. Из батальона — в полк, в дивизию, оттуда к начальнику армейской разведки. Команда пришла немедленно: птицу не трогать, птица связная, наша.

«Разве за тобой угонишься!»

19 мая 1944 года сводка Совинформбюро содержала такие данные: юго-восточнее Витебска, в частях Н-ского соединения успешно действует группа девушек, окончивших школу снайперов. За время с 5 апреля по 14 мая они истребили более 300 гитлеровцев. Ефрейтор Р. Шанина уничтожила 15 фашистов.

Комсорг батальона, прочитав в своей армейской газете сообщение Совинформбюро о действиях девушек-снайперов, в первую очередь разыскал Шанину. Прочитала сводку, покраснела, а потом вдруг свистнула по-мальчишечьи.

— Так у меня восемнадцать, а тут пишут пятнадцать.

Комсорг рассмеялся:

— Разве за тобой угонишься!

Еще раз прочитав сводку, Роза спросила:

— Так это что же получается! В моей Едьме будут читать?

— Сов-ин-форм-бю-ро, — по складам выговорил комсорг, — это понимать надо. На всю страну, на весь мир тебя прославили, а думаешь, там теперь не узнают?

— Где... там? — не поняла Роза.

— А на той стороне. Они наши сводки читают и слушают. Еще как!

В тот же день Роза сама убедилась, что «на той стороне» наши сводки читают. И очень внимательно читают.

Бродила по траншеям, присматривалась к обороне

противника, прислушивалась к стрельбе, выбирая на утро огневую позицию для себя. Потом советовалась с солдатами, им виднее, где засел вражеский снайпер, да и подсказать могут в выборе засады. Что-то вдруг «на той стороне» зашипело, затрещало на всю округу, и хлынула к нашим траншеям мелодия какого-то давным-давно забытого слезливого романса.

— Повело, заголосили, — взглянув в сторону немецких траншей, проворчал солдат.

Что-то в немецком динамике рявкнуло, хрюкнуло, потом снова прозвучал обрывок романса, и вдруг ломаным русским языком динамик заговорил:

— Внимание, ахтунг, внимание! Русские солдаты, слушайте! Слушай наш голос, ефрейтор Шанина! Иди к нам, ефрейтор Шанина, командование немецкой армии обещает тебе красивую жизнь. Скажи своим девушкам, ефрейтор Шанина, командование обещает...

Что там еще обещало командование, этого уже никто не слышал, потому что мина оборвала немецкого зазывалу на полуслове. Попала мина в установку или не попала — никто не видел, только в этот вечер фашистский радиофургон больше ни звука не выдавил из своей утробы.

Выбравшись из траншеи, Роза направилась к минометчикам, за горку. Солдаты сказали, что батарейцы прибыли к ним утром, чьи они — пока неизвестно, может быть, с соседнего участка, а может, — из армейского резерва, что работают минометчики славно, знают свое дело хлопцы.

— Привет мастерам меткого огня! — высоко подняв руку, бойко произнесла Роза. — Подбили брехаловку или только так, спугнули?

Минометчики переглянулись. Сказать, что накрыли, а вдруг снова заговорит, девушка засмеет, признаться, что сами не знают, потому что фашистская машина была за бугром, а били они по звуку — тоже не к лицу гвардейцам. А у девушки за плечом винтовка с оптическим прицелом, девушка в желто-зеленом маскировочном халате, кто знает, может быть она даже из тех, про которых верещало фашистское радио. Выручил своих друзей, видно, самый бедовый, очень молоденький солдат:

— Извините, гражданочка, в другой раз повременим, с удовольствием дадим послушать музыку, заглядывайте!

— Пожалуйста, пожалуйста, бейте на здоровичко, — улыбнулась Роза, — мне не к спеху, могу потерпеть до Берлина.

Ответ понравился, минометчики рассмеялись. Кто-то спросил:

— А ты эту не знаешь, ну эту... которую они на красивую

жизнь зазывали? Она из ваших?

— Из наших, все наши! — сильно покраснев, сказала Роза и быстро зашагала к старой проселочной дороге.

Вот тогда и вспомнил старший сержант:

— Она! Да это ж она и была, Шанина! Ефрейтор Шанина, в газете фото видел!

«Вчера она уничтожила трех фашистов»

Была отбита и третья попытка немцев вернуть Козьи горы. Живые откатились за лес, на исходные, мертвые остались на заболоченных подступах к высоте. Их было не меньше сотни, безмолвных свидетелей бессмысленной затеи гитлеровского командования. Прочно закрепившись на Козьих горах, две роты капитана Снегова держали теперь под огнем все земное пространство от гребня высоты до дальнего леса. Справа от Козьих гор в немецких траншеях обосновались солдаты третьей роты, слева начинались владения соседнего батальона. Огненное кольцо окружения медленно, но верно сжималось вокруг витебской группировки немцев.

Ночь была на исходе, утро наступало хмурое, над землей висели темные, грузные тучи. В ротах никто не сомкнул глаз, ждали четвертой утренней атаки обалдевших, вконец утративших чувство реальности гитлеровцев. Последний приказ ставки Гитлера сулил генералам самые страшные кары за сдачу стратегически важных позиций.

— Ну, чего лезут, куда лезут, сучьи отпрыски, — ворчал капитан Снегов, разглаживая ладонями километровку.

Снегов еще ничего не слышал о самом последнем, секретнейшем приказе ставки Гитлера. Это там узнали, в разведотделе армии, утром, на допросе пленного оберлейтенанта, прихваченного танкистами вместе со штабной машиной. Какое-то острое, шестое чувство опытного офицера подсказывало Снегову, что Козьи горы сегодня для немцев ни к чему, что от Козьих гор им ничуть не больше пользы, чем мертвому от согревающего компресса. Снегов был твердо убежден, что на этот раз немцы в лобовую не полезут, не пойдут на Козьи горы. Трижды обожглись, в четвертый раз не рискнут, какая бы их сила не толкала на это. Скорее всего, размышлял Снегов, полезут на крыло, вот только на какое крыло?

Вошел начальник штаба и с ходу:

— Поздравляю вас, товарищ капитан.

Снегов не понял.

— Ты о чем?

— Об этом, об этом самом, — подавая Снегову свежий номер армейской газеты, произнес начальник штаба.

Снегов пробежал глазами несколько подчеркнутых карандашом строчек. В них сообщалось о новых успехах снайпера Шаниной: «Вчера, — говорилось в заметке, — она уничтожила трех фашистов».

Снегов вспомнил, как было вчера, перед боем. Шанина появилась на Козьей горе в тот момент, когда от леса уже отделились цепи идущих в атаку гитлеровцев.

Он крикнул: «Уходи, Шанина!» — но его голос заглушил грохот боя.

По отзывам командования Центральной школы снайперов, Шанина заметно выделялась в ряду других девушек высоким мастерством снайпера. И пользовалась среди них большим авторитетом.

В дивизии Шанина с первых выходов на передовую как-то сразу прочно и властно определилась в среде бывалых, хлебнувших войны солдат. После четвертого выхода на охоту в снайперской книжке ефрейтора Шаниной цифра истребленных оккупантов была уже двухзначной, а в графе, где в метрах отмечают расстояние от засады снайпера до цели, было дважды рукой наблюдателя выведено «200». Вот почему, когда Шанина появилась в боевых порядках пехоты, было тревожно: там ее мог заменить любой боец, а в снайперской засаде равных ей было мало.

...О боевом успехе снайпера Шаниной сообщила в редакцию армейской газеты снайпер Дуся Красноборова. Написала, что это совсем не простое дело за один выход поразить три цели. И надо, чтобы вся армия знала об этом. До войны Дуся была рабкором своей городской газеты. Вот и передала информацию в армейскую газету. Ее поблагодарили за оперативную и ценную информацию, просили почаще писать о боевых делах девушек-снайперов.

Прочитав вечером газету, Роза вскипела:

— Тоже мне корреспондент! Ты бы еще про то написала, как я в одном сапоге ледяное болото форсировала! Смешно?

Дуся снисходительно улыбнулась: недооценивает Роза силу печати. Вот и тогда, когда в «Огоньке» напечатали ее фото, разошлась, почему да отчего она, а не другая девчонка. А Саша Екимова шепнула, что видела своими глазами очень злую запись в дневнике подруги по поводу заметок о ней в газетах. Конечно, воспитывать Розу она не собирается, но как-нибудь на комсомольском собрании придется поговорить о неуважительном отношении ефрейтора Шаниной к печатному слову.

— Тебе что, — уже спокойно продолжала Роза, — написала, подписала, и все, а с Шаниной, Дусенька, снова стружку будут снимать по твоей милости. Ага, не гляди так, сама первая руку подымешь за взыскание. — Подошла к Дусе с газетой. — Читай: «Вчера она уничтожила...» Ну вот, газета вышла семнадцатого, вчера — это, значит, было шестнадцатого, а шестнадцатого я обязана отдыхать после очередной засады. Самое малое — сутки. Как положено снайперу. А ты, Дусенька, забыла об этом, и теперь командир узнал, что Шанина в самоволке была.

На левом крыле батальона

Атака началась внезапно, без огневой подготовки, стремительно, под завесой дождя. Очевидно, немцы решили взломать оборону на фланге, вклиниться в пролом, выйти в тыл и там уже развернуться для наступления на высоту.

Было что-то безумное и бессмысленное в движении по земле сплошной массы зеленых шинелей, пилотов, касок. Все это лезло на пулеметы, на стволы автоматов, вваливалось в траншеи, металось с фланга на фланг, бегало, ползало, падало.

Снегов появился на левом крыле участка, когда там завязывалась рукопашная. Пригибаясь, перебежками Снегов добрался до траншеи. Совсем рядом воздух рванула граната. Ударило в ногу, шевельнул ступней. Кажется, обошлось. Бывают такие милостивые гранаты: гроыхает у самых ног — и ни царапинки. К Снегову подполз солдат:

— Девчонка! Девчонка что делает!

Увидел Шанину. Привалившись к бугорку, она расстреливала из автомата ползущих к траншее гитлеровцев. Расстреливала не короткими очередями, расстреливала расчетливо, целясь, с поразительным спокойствием. Автомат Шаниной был переведен на одиночную стрельбу. Она не видела, что творится по сторонам, она, казалось, не слышала близких разрывов гранат. Она стреляла. Она уничтожала оккупантов. По одному, без промаха.

На бровке ближней траншеи рвались гранаты. Немецкие шарики, наши лимонки. Рвались с глухим, суховатым треском, расплескивая по сторонам смертельные брызги металла. Перед траншеями инициатива боя была уже на нашей стороне. Отрезанные от леса огнем минометов, гитлеровцы метались в плотной дуге огня, огрызались зверски, яростно...

Бой затухал постепенно. Все реже слышались очереди пулеметов, короткий, торопливый стрекот автоматов, винтовочные выстрелы. Потом все затихло.

— Присядем, товарищ старший сержант. Побеседуем: задание редактора.

Присели на поваленную березу, корреспондент дивизионки вытащил из кармана подпаленного ватника потрепанный блокнот, остро отточенный карандаш на длинном шнурке. Глаза Розы сделались веселые, озорные.

— Ты бы, товарищ корреспондент, кубаночку свою чудненькую еще на поводочек. Смахнет с головы такую прелесть, что тогда.

Молча проглотил Перепелов девушкину смешинку. Яркий румянец вспыхнул на его до блеска выбритых щеках. Без нужды кашлянул в кулак, поправил лихо сдвинутую на затылок превосходную, подаренную комбатом еще под Сталинградом каракулевую кубанку и вдруг тихим баском произнес:

— Так значит, товарищ старший сержант, расскажи, как это ты вчера после атаки тройку фрицев в батальон привела. Только, понимаешь, спрессуй, пожалуйста, отожди факты. Газета моя, сама понимаешь, поменьше «Звездочки», тут, понимаешь, надо чтобы все впритирку. Понятно?

— Понятно, — все еще улыбаясь, ответила Роза. — Отожду, дорогой товарищ корреспондент, сухарики останутся. — И, помолчав, заговорила быстро-быстро: — Попала к самоходчикам случайно. Шла, заблудилась, они подобрали, пошли на хутор, взяли хутор, немцев раздолбали. Десант ушел в одну сторону, я в другую. Иду в мечтах. Одна. Ну прямо как в сказке. Вышла на дорогу, ступила на мостик, глянула в овраг, вижу стоит немец. Крикнула: «Хенде хох!» Поднялись шесть рук. Отступить некуда. Кругом чистое поле, до своих далеко. Показала стволом винтовки, ползите, мол, ко мне. Выползли. Отобрала оружие. Прошли километра два, — один спрашивает: «Гут одер капут?» Говорю: «Гут, гут», а сама думаю: «Скорее бы наши показались». Я в маскхалате, с финкой, с гранатами, винтовка наизготовку. Страшная. Пленных сдала куда следует.

— И все? — удивился Перепелов.

— Точка. Все. Закругляйся, кубанец, отжала.

Перепелов насупился. Роза пожала плечами.

— Сам просил, спрессовано честно. Рассказать тебе, какая болтанка бывает на самоходках? Жуть!

«Издевается над человеком, знает, что он всего только ефрейтор, вот и куражится», — с горечью подумал Перепелов.

— Давай, товарищ старший сержант, не будем. Не темни. Мне, понимаешь ты, надо как одна девушка с тремя управилась,

что она думала в те минуты, ну в общем... обоснуй психологически.

Теперь уже без улыбки взглянула Роза на своего собеседника.

— Все! И ничего я тебе больше не скажу, парень, — ни-че-го-шень-ки, потому что сама не пойму, как все получилось. Не знаю, не знаю. Вот и вся психология.

— А я знаю, Шанина! — хлопнув ладонью по своему колену, поднялся Перепелов. — Я знаю, что ведет человека в трудную минуту!

— Ну и знай! — резко оборвала Роза Перепелова. — Все-то вы, корреспонденты, знаете. Ну, я свободна?

Перепелов сник. Поправил кубанку и вдруг просительно, жалостливо:

— Тут, понимаешь, задание такое, передовую готовим на важную тему. О презрении к смерти, понимаешь, о бесстрашии воина.

— Как, как ты сказал? — зло посмотрела в глаза Перепелову Роза.

Перепелов повторил.

— Глупости несешь, парень! Бесстрашие! Вот придумал! Только и знаете — бесстрашие, бесстрашие. А кто тебе сказал, что мне не было страшно там? Читал в «Звездочке», там были стихи правильные. Там честно все сказано. Запомнилось. «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». Читал ты это?

— Ну, читал, — тяжело вздохнул Перепелов. — Юлия Друнина.

— Вот-вот, она самая, так что о бесстрашии давай лучше помолчим, дорогой товарищ корреспондент. Ну, теперь все?

Перепелов молча смотрел на девушку, думая, как бы продлить эту встречу. Уйдет Шанина сейчас, а когда еще выпадет другой случай вот так, с глазу на глаз, поговорить с ней, с давно избранной им героиней задуманной поэмы. Перед войной стихи Алексея Перепелова охотно публиковала городская газета. Еще немного, и обязательно дошла бы и до Перепелова очередь стать заочником Литературного института. Мечты оборвала война. Ушел на фронт, в пехоту, рядовым. Был ранен, из госпиталя попал в дивизионку, и определили ефрейтора Алексея Перепелова на должность погибшего в бою литсотрудника. С испытательным сроком.

Слышал Перепелов о Шаниной много. Видел ее один раз, когда на попутных добирался до одного из подразделений. А поговорить привелось только теперь. И даже не по заданию редактора, по своему давнишнему замыслу увидеть ее хотелось,

послушать эту замечательную, отважную девушку.

Спрятал блокнот, карандаш.

— Один вопрос у меня к тебе. Не для газеты, к делу вопрос не относится. Личный он. Сугубо личный... Ты городская или деревенская?

— Сельская, — с улыбкой поправила Роза, — архангельская, северянка. А что?

— Это более чем странно...

— Что, что? — не сразу поняла Роза.

— Ну, значит... как бы это сказать, имя себе сама придумала или так было?

— Так было, товарищ корреспондент, со мной не согласовывали, — рассмеялась Роза, — честное слово, так было!

— Странно, очень даже странно...

— А один брат у меня Марат, а был еще самый младший — Лассаль. Опять странно?

— Во всяком случае любопытно, — искренне признался Перепелов. — Расскажи, пожалуйста, Роза, о своей семье. Записывать не буду.

— Только в другой раз. Ладно, корреспондент?

Неподалеку с глухим треском шлепнулась мина. Перепелов оглянулся, помолчал, потом сказал тихо:

— У нас с тобой, товарищ старший сержант, другого раза может и не получиться. Тут, понимаешь, этот другой раз очень относительное понятие.

— Будет тебе, корреспондент, каркать, скуку наводить, — вдруг со злостью отмахнулась девушка.

— А ты что... бронированная? — искоса взглянув на Розу, спросил Перепелов.

— Ага! — всматриваясь в дымки разрывов, отозвалась она...

Письма... письма...

В свою роту Роза возвращалась на попутном бронетранспортере. Водитель звал к себе, место свободное было рядом, машина шла в ремонт, парню наскучило трястись одному. А ей хотелось с ветерком прокатиться, и она устроилась на скамье десантников. Ее ждали письма. Целая пачка. Просто удивительно получается: только мелькнет в армейской газете фотография девушки, и сразу письма. Смешные, грустные, глупые. Больше глупых, потому что в таких письмах, кроме любви навеки, — ничего нет. Шлют свои фотокарточки, и каждый приговаривает, что снимался, мол, в трудных полевых условиях, что получился

он не таким, как в натуре, а вот дома у него есть фото, позавидуешь... К таким письмам Роза привыкала постепенно, вот так, как привыкает человек к постоянно окружающему его запаху цветов. Но прочитывала каждое внимательно, от строки до строки, бывало, и пересчитывала, это когда письма были нормальные, хорошие. Конверты отложила в сторону, принялась за фронтовые треугольники. Развернула первый, не выбирала, взглянула на подпись. Капитан Гудков. Был в школе снайперов лейтенант Гудков. А теперь капитан. Гудков сообщил, что добрый, сердечный школьный старшина Иван Тихонович Подрезков пребывает в его батальоне, отлично справляется с батальонным хозяйством, а когда надо — берет в руки автомат или гранату, это в зависимости от обстановки, и тогда старшину-хозяйственника уже никак не отличить от боевого автоматчика. «Наш Савельев, — читала дальше Роза, — если вы не забыли такого товарища, благополучно окопался где-то в столице, чувствует себя, по письмам, нормально. Все требует быстрее заканчивать волынку со всякими гитлерами. По всему видно, мы с вами, Шанина, где-то рядом, даже в одном хозяйстве, потому что газета у нас одна. Хотел бы видеть, какая вы теперь, по газетному снимку определить трудно. Привет всем вашим боевым подружкам, счастья вам, Шанина, и боевых успехов. Капитан Гудков». Сбоку, на краешке листка, приписка: «А школу нашу не забывайте! Помните всегда славную и гордую нашу ЦШС!»



Мать Розы — Анна Алексеевна с внуком Тимуром. 1952

год.



Отец Розы, Егор Михайлович Шанин, — организатор и руководитель одной из первых коммун Севера. 1922 год.



Деревня Едьма. Здесь жили семьи первых в районе и уезде коммунаров. В этом доме коммунаров в 1925 году родилась Роза Шанина.



Березниковская школа, где училась Роза Шанина.



1941 год. Роза — студентка Архангельского педагогического училища.



Михаил — старший брат Розы.



Марат — младший брат Розы.



Роза со своей любимцей Таней, воспитанницей детского сада.



Роза — курсант Центральной школы снайперов. Сентябрь 1943 года.



Такой увидели девушки-снайперы Белоруссию.



Март 1944 года. Первые дни на фронте.



20 апреля 1944 года. С орденом Славы III степени.



Боевые подруги (слева направо): Саша Екимова, Роза Шанина, Лида Вдовина. Под Витебском. Май 1944 года.



С орденом Славы III и II степеней. Октябрь 1944 года.



В редакции армейской газеты у новогодней елки. 31 декабря 1944 года.



Подруги Розы Шаниной после вручения им боевых наград.



Идут в атаку однополчане Розы Шаниной.



1945 год. Салют на берегу Балтики воинов 5-й армии, в которой сражалась Роза.



Перед очередным выходом на «охоту».



**Знаменский район Калининградской области.
Торжественная линейка пионеров Большеполянской школы
на могиле Розы Шаниной. Май 1971 года.**



**Село Устья. Новое здание восьмилетней школы имени
Розы Шаниной.**



1969 год. Первый выпуск школы имени Розы Шаниной.



Портрет Розы Шаниной в ленинской комнате детского сада (г. Архангельск), в котором она работала.



Архангельск. Приз имени Розы Шаниной вручен капитану команды-победительницы в соревновании стрелков ДОСААФ.

Орден Славы

Генерал зло хмурит брови. Это у него очень просто получается. Брови густые-густые и черные, и к тому же очень подвижные. Козырьком. Опустились на глаза, и поди угадай, что там у него под черными козырьками. Но это пусть те гадают, кто не знает генерала, командир стрелкового полка гвардии майор Дегтярев хорошо изучил своего комдива. Дегтярев знает, что генералу стало известно, что снайпер Шанина в часы, отведенные для отдыха, ходила с разведчиками за языком.

— Ну, что молчишь? — чуть шевельнув бровью, спрашивает генерал. — Ладно, думай, думай.

— Выходит, товарищ генерал, солдату на войне воевать запрещаем? — в свою очередь спросил Дегтярев.

Черные брови взлетели вверх, по глазам генерала можно определить, что он и сам так думает: Шанина не понимает, что она нужна как снайпер, что таких сверхметких стрелков, как она, в дивизии единицы. Что она может принести куда больше пользы, уничтожая врага из своей засады. А она в часы, отведенные для отдыха после снайперской охоты, участвует в боях наравне с

другими пехотинцами. Спросят, как она тут оказалась, покраснев, ответит, что в этом она ни чуточки не виновата, что пришла место для засады присмотреть, с солдатами посоветоваться, так их в школе учили, ну а тут немцы лезут, деваться некуда, вот и пришлось повоевать.

— Так что будем делать, майор? — спросил генерал. — Если рассуждать по-твоему, так, выходит, мы, брат, в тупичке, что нет у нас с тобой никаких заслонов против девчонки.

— Есть, товарищ генерал, — живо отозвался Дегтярев. — Есть средство!

— Ну, ну, выкладывай, — улыбаясь одними глазами, попросил генерал. — Какое такое средство изобрел?

— Убеждение! Разрешите, возьму на себя?

— Сам придумал? — проворчал генерал. — Так, так, убеждать, значит, собрался. Представляю, как это будет.

Дегтярев улыбнулся.

Оба одновременно взглянули на часы.

Генерал протянул руку к наградным листам, привезенным Дегтяревым.

— Сколько их тут у тебя?

— Двенадцать, товарищ генерал, и одна докладная.

— Докладная... Это ты про что в своей докладной? — предвидя неладное, насупился генерал.

Дегтярев признался, что не хватило у него мужества, чтобы умолчать об отваге, которую проявила старший сержант Шанина в двух боях за Козьи горы.

...Только к ночи выдалось свободное время, чтобы можно было в тишине, обстоятельно, от строки до строки перечитать все двенадцать наградных листов. И не за рабочим столом, — в постели, при слабом свете аккумуляторной лампочки вглядывался комдив в каждую строчку наградного листа, и тогда перед его глазами возникали живые люди. Совсем еще молодые и такие, кому перевалило за четыре десятка. Разные. Одного война застигла в далеком Карабахе, другого в Москве, инженеры, учителя, плотники, земледельцы. К тексту реляций комдив относился придирчиво, дотошно, строго. Не выносил розовой водички и не прощал, как говорил, «щенячьей слепоты» при описании подвига солдата. Возвращал командирам полков многословные реляции с неизменной надписью синим карандашом: «За дровами леса не видно».

«Снайпер-стажер тов. Шанина, — читал комдив очередной наградной лист, — несмотря на артиллерийский и пулеметный огонь противника, настойчиво выслеживала врага и при появлении уничтожала его из своей снайперской винтовки. Таким

образом, с 6.4.44 г. по 11.4.44 г. будучи в районе обороны 2 сб 1138 СД она уничтожила 18 солдат противника. Достояна правительственной награды ордена Славы III степени. Командир 1138 СП гв. майор Дегтярев».

Генерал подписал наградной лист с удовлетворением, а докладную майора не читая разорвал в мелкие клочки.

Если бы люди знали...

«Отвоевалась...»

Это было самое обычное задание.

Второй день на участке батальона Губкина действует вражеский снайпер. Хитрый, осторожный, натренированный снайпер. И не один, со своими «ассистентами» работает. То они, эти его ассистенты, пучок ракет запусают, то мину с цветным дымом швырнут в чистое поле. Это для того, чтобы отвлечь внимание наших наблюдателей при выстреле снайпера.

Дождалась попутной машины, ловко перемахнула через борт, и полуторка умчалась по пыльной, растрепанной фронтовой дороге. В кузове пустые канистры, ведра, лопаты. Вспомнилась дорога в Шангалы, суматошная пустая бочка, Дидо в кабине... Много в дороге вспоминается. Потом вспомнился вечер над Витьбой, знакомое лицо танкиста...

На спуске к переправе пробка. Водитель сказал:

— Теперь до вечера.

— Почему до вечера? — удивилась Роза.

Водитель вылез из кабины, ткнул носком сапога в покрышку и очень спокойно объяснил, что всегда так на переправах, кто порожняком идет, того в хвост. Выпрыгнула из кузова, закинула за спину винтовку и пошла по лугу, подальше от потока машин, к лодочке, чуть чернеющей на реке, неподалеку от переправы.

Земля дышит бурно, всей грудью, по-летнему. Все запахи земные перемешались, попутались в кутерьме неманского побережья. Нашла палку, кое-как добралась до другого берега, а там новая беда. Сотни машин, лавина машин и ни одной в сторону батальона Губкина. Хорошо, что попутный ветерок. С ним все-таки веселее шагать. Только бы поскорее добраться до места, выйти на охоту, выполнить задание.

Не задержалась в пути, прибыла в заданное время, на указанное место... но кто же мог знать, что все здесь перевернется к ее приходу. Батальон всеми ротами яростно отбивался от наседавшего противника: через позиции батальона немцы пытались выкарабкаться из окружения. Над взбодораженной землей висели мутно-рыжие облака пыли и дыма. Огонь автоматов перекашивался волнами с края на край, над облаками дыма змеились ракеты, с глухим треском рвались мины.

По ходу сообщения добралась до поваленного дерева. И

стреляла. Стреляла только тогда, когда в крестике оптического прицела видела черную пилотку врага. Она ни о чем не думала, она не оглядывалась по сторонам, не прислушивалась к стонам раненых, умирающих солдат. Она только стреляла, когда в крестике оптического прицела видела черную пилотку врага...

Что-то со страшной силой ударило ее в плечо. Теперь оглянулась. Ни души рядом. За камнем, неподалеку убитый солдат. Он там и был, когда она подползала к дереву...

После толчка острая боль. И мысль, молнией мелькнувшая: «Отвоевалась».

...Фельдшер санроты сказал, что рана не из тяжелых, но заживать ее лучше и быстрее в госпитале. Там и врачи всех специальностей, и спокойнее, и уход другой, и средства лечения самые современные.

В медсанбате

В глубине старинного парка — часовня. Древняя, католическая, под ободренным островерхим шатром. Рядом домина кирпичный, двухэтажный, длинный, с узенькими окошечками. В нем, говорят, была обитель монахов. Бог с ними, с монахами, теперь это медсанбат.

Едва переступив порог приемной, Роза спросила:

— Долго у вас тут лечат людей?

Дежурный врач, взглянув на белокурую девушку, улыбнулся:

— Вот посмотрим, что там у вас, тогда и о сроках поговорим.

В палате, после осмотра, хирург подозвал старшую сестру:

— Позаботьтесь, Машенька, насчет сыворотки.

Машенька даже не ответила хирургу. Передернула округлыми покатыми плечами и ушла, покачивая бедрами. Машенька... Какая-то она развязная, разрисованная. Под накрахмаленной косынкой коротко стриженные огненные волосы, огненный кокетливый хохолок, завитушкой из-под косынки. Не случайно он вырвался наружу, перед зеркалом это делается. Брови подведены. Военторговские сапожки, и не какие-нибудь там кирзовые или яловые. Хромовые сапожки, на изящном каблучке.

После ухода хирурга Машенька подплыла, наконец, к койке. Руки в карманчиках халата, смотрит куда-то в пространство.

— Пулевое? Как это у тебя получилось?

— Так и получилось, — тихо отвечает Роза. — А для чего сыворотка?

— Для того, — пожимает плечами Машенька, — чтобы не было гангрены. Повернись на бок. Ну так где ж это тебя,

красавица, подстрелили?

«Что бы ей сказать такое, чтобы скучной ушла из палаты, — думает Роза, разглядывая Машеньку. — Противная, раскрашенная, на лейтенанта Савельева чем-то похожа». Сказала, что пришло в голову:

— В кустах меня ревнивец подстрелил.

Машенька ничего не сказала, Машенька только слегка прикусила подкрашенную губку. И ушла, постукивая каблучками.

Саша Екимов прибыла в госпиталь на рассвете, с баночкой душистого меда и свежими ротными новостями. Встреча подруг была недолгой. Саша торопилась: обратная «санитарка» должна была отправиться с минуты на минуту. Успела сообщить, что в «Звездочке» о ней здорово написано, а в армейской газете фото напечатано, и сказала, что теперь Розу завалят письмами.

После вечернего обхода в палате появилась Машенька. Приветливая, глаза сияют.

— А я-то и не знала, что ты это та самая, ну, в общем, понимаешь, про которую пишут в газетах. Вот это да! Это девушка! Увидела сейчас твое фото в газете, понимаешь, даже не поверила. Ох и шутница ты, Шанина, сказала, что из ревности стрельнули.

Там, за Устьей-рекой

Когда началась война, Анна Алексеевна Шанина пошла работать на ферму, потребовала для себя такого дела, чтобы с утра до ночи привязывало. Теперь это было большое, налаженное хозяйство, не такое, как тогда, когда она впервые пришла на скотный двор, чтобы принять в свои руки заботу о десятке коровенок да паре бычков.

Первая похоронка пришла в дом Шаниных на исходе зимней ночи сорок первого года. Там сообщалось, что 22 декабря 1941 года в бою под Малой Вишерой пал смертью храбрых пулеметчик 137-го стрелкового полка Михаил Егорович Шанин.

Егор был далеко, на заготовках, в Шенкурских лесах.

Следом за похоронкой — богомолки. Появились они в Едьме в самые тяжелые для страны дни, когда немцы были на ближних подступах к столице. Крестьясь на все углы, старухи каркали: «Конец пришел всем Шаниным, всем большевикам конец пришел»... Крестьясь, измывались над Анной Алексеевной: «Боженька увидел и покарал. Это тебе, Анна, за все твое коммунарское семейство».

Крестьясь, разбрелось по устьянским дорогам богомольное

воронье, растаскивая по вдовьим избам, будто радость какую, весть о горе матери.

Прошел год — и вторая похоронка. Погиб Федор, артиллерист, командир батареи, кавалер ордена Красной Звезды...

Придет с работы Анна Алексеевна, вытащит из-под кровати зеленый, окованный железом сундучок, откроет его и долго-долго, нежно, ласково перебирает письма детей. Читать не умеет, а знает — какое письмо Михаила, какое Розы, Федора, Сергея... Вот и сегодня принесли письмо, только взглянула, сразу узнала от кого.

Позвала Марата, чтобы прочитать. Марат не читал, он выкрикивал, выводил тонким голоском какие-то непонятные слова, то по складам, то залпом, захлебываясь от ребячьего восторга. Отойдя в сторонку от ошалевшего мальчишки, Анна Алексеевна тихо, едва заметно улыбалась. Чуткое материнское сердце нашептывало ей в эту минуту, что сегодня в дом Шаниных пришла добрая, радостная весточка, что «там» бывают и светлые дни. Она только приговаривала: «Да ты, сынок, поспокойнее, не шуми так».

А как тут можно поспокойнее, как тут не расшуметься, когда его сестру наградили самым главным солдатским орденом, когда сейчас вся Едьма услышит от него про этот главный орден, и пусть-ка теперь монашка сунется в дом! Из всего, о чем шумел мальчишка, Анна Алексеевна разобрала только одно слово — орден. Какой орден, за какие заслуги орден, — не об этом думала сейчас Анна Алексеевна. Ее дочь жива, в письме дочери радость, а это было все, все на свете, чем жила мать в годы страшной войны.

...Не узнать человека! Самым нужным человеком в колхозе стал теперь Маврикий Маврин. За какую работу ни возьмется, все у него ладно получается, в срок, добротнo, на совесть. С душой работает теперь человек, с огоньком и, самое удивительное, к общественному добру относится, как к самому святому на свете. И называют теперь Маврина уважительно. По имени и отчеству. Одни говорят, что он стал настоящим человеком, когда остался среди баб, и что это они его перевоспитали. Другие утверждают, а это уже ближе к истине, что письма сына-фронтовика изменили человека.

Да только один Маврин знает, кто помог ему вернуться к прежней, настоящей жизни, кто раньше всего тронул сердце сына, вернул парня отцу. Кто знает, куда бы зашел Маврикий Маврин, если б не встретила на его непутевой тропинке девчонка с чутким и добрым сердцем...

С рассветом выходит на работу Маврикий Трофимович, не

ждет, когда бабы скажут, что над телятником крыша прохудилась или поилки прогнили. С рассвета обходит свои владения, не может допустить, чтобы кто другой, а не он, увидел первым прогнившее стропило, дырку в крыше, забор поваленный. Только не за этим зашел сегодня на ферму Маврин.

Поздоровался с девушками, с особой почтительностью с Анной Алексеевной. Постоял, помолчал, погасил самокрутку, приветливо взглянул в глаза Анны Алексеевны.

— С праздничком, с большим вас праздничком, Алексеевна!

Удивилась. Что это он! Человек не пьющий, рассудительный, а несет бог знает что. Опустила ведро, поправила платок.

— Чудаковать, Трофимыч, после будешь, как война кончится. Где это приснился тебе праздничек, только вторник начался, а тебе праздничек.

Маврин широко ухмыльнулся:

— А что ж не радоваться! Дочка твоя ордена удостоена, землячка наша в почести, а мы тут, что, посторонние, на другой земле живем? У моего Павла медаль, у твоей орден Славы! Это ж знаешь ты что?

— Не знаю, не знаю, — покачав головой, сказала Анна Алексеевна. — Письмо, что ли, Роза тебе написала?

Маврин удивился:

— Будто ничего не знаешь?

Анна Алексеевна пожала плечами.

— Да разве поймешь мальчишку. Кричал не своим голосом, куражился, да ходу из избы. Так он, значит, тебе первому прочитал дочкино письмо?

— Может, и не первому, по всем избам носился, все в точности изложил, стало быть, факт, твоя дочка, Анна Алексеевна, главной награды удостоена!

— Не знаю, не знаю, Трофимыч, — вздохнула Анна Алексеевна, — когда радоваться, когда печалиться, все перемешалось на сердце, вернется, тогда и праздник будет.

Распрямившись, она спросила вдруг, как там у него с бадейками, скоро ли готов будет заказ.

Легче, когда о чем-нибудь постороннем заговоришь, голова передохнет от тяжких дум.

Марат прибежал на ферму, когда убедился, что не осталось в деревне ни одной души, которая бы не знала об ордене его сестры. Кто-то разыскал в доме газету с изображением ордена Славы, подтвердил, что этот орден самая высокая награда за солдатскую храбрость. К вечеру на стене дома-коммуны появилась стенная газета. Яркая, цветастая. Тут были стихи, посвященные славной землячке Розе Шаниной, добрые слова ее

школьных подруг, большое изображение ордена Славы. Потом Марата отправили на почту с письмом, подписанным всеми комсомольцами деревни. С первой попутной машиной уехал на лесозаготовки Маврин, потому что ему, как он сказал, «позарез» необходимо оповестить об ордене самого Егора Шанина.

...Всю ночь до рассвета просидела у окна Анна Алексеевна. Ее материнское сердце было там, с детьми.

«Если ты та самая...»

Роза перечитывает письмо. В который раз. Так, значит, там у Витьбы был он. Какой глупый, смотрел и не узнал, не вспомнил. А она? Умнее его, что ли. Не отважилась сделать шага, спросить запросто, — не он ли тот самый, который... Подумаешь, ну не он, обозналась, беда большая. Так нет же, смелости не хватило. Не простит она себе этой робости, никогда не простит, потому что не только в бою нужна человеку смелость и решительность.

Прилегла на койку, письмо осталось на столике, строчки перед глазами. «Если ты из Едьмы — отзовись...» Дидо просит фото. То самое, которое видел в газете. Пишет, что у него в танке, на стенке башни, открытка. Три богатыря. «Если не обознался, ты будешь четвертым богатырем, рядом с теми наклею». Улыбнулась. Все-таки скромный парень, другой бы развез.

Нет у нее фотокарточки, и отвечать она ему сейчас не собирается, потому что в голове сплошной ералаш, потому что горькая обида не отошла от сердца после комсомольского собрания. Вот отец, двадцать семь лет в партии, и ни одного взыскания, а дочка уже в комсомоле успела заработать. Ну хотя бы Сашка воздержалась. Подруга верная называется. А потом еще набралась смелости сказать, что это она вполне сознательно и обдуманно подняла руку за комсомольское взыскание, что только так и надо воспитывать несознательных комсомольцев. Секретарь сказал, что сам начальник политотдела посоветовал включить в повестку дня комсомольского собрания обсуждение ее самоволки.

Острое чувство обиды теснило грудь. Все святые, Саша святая, Лида, Тоня, Зина Шмелева. Все святые, все чистенькие, одна она грешница — с комсомольским взысканием.

А что, если пойти к начальнику политотдела, не съест, глаза у него понимающие. Пойти, да и высказать все-все, что на сердце. Говорят, он до войны был директором десятилетки. Значит, терпеливый. Значит, поймет. Но это завтра. А сейчас...

В землянке, привалившись к столику, она склонилась над своим дневником. Захотелось перечитать, как там было написано

у нее об этом. «Вчера снова убежала на передовую. Наступали. Шла в атаку. Но нас остановили. Мы закрепились. Дождь, грязь, холод. Ночи длинные».^[1]

...Шумная Саша ввалилась в землянку, увидела дневник, взглянула ласково в глаза подруги.

— Ну что ты! Ну что? Ну обсудили, ну и правильно обсудили, сама согласна, что правильно. Подумаешь, «на вид», так она и расквасилась. Это ж, Розочка, комсомольское было собрание.

Роза только взглянула на свою подругу: «Эх, Сашка, Сашка, ничего ты не понимаешь». Вырвала листок из синей тетради. И подумав, записала:

«Сделала самоволку. Случайно отстала от роты на переправе. И не стала искать ее. Добрые люди сказали, что из тыла отлучаться на передний край не есть преступление. Я знала, что наша учебная рота не пойдет в наступление и поплетется сзади. А я хотела быть на передовой — видеть настоящую войну. И теперь не жалею. И как было искать роту? Кругом по лесам и оврагам шатались немцы. Пошла за батальоном, который спешил к месту боев. Попала в серьезную стычку с врагом. Рядом гибли люди. Я стреляла. Я счастлива! За „самоволку“ отчитали, дали комсомольское взыскание — поставили на вид».

Когда снайпер плачет

Начальник политотдела дивизии слушал Шанину внимательно. Не перебивал и не поглядывал на часы — не намекал, что пора, мол, старший сержант, закругляться. Слушал внимательно, потому что девушка говорила горячо, убежденно.

Почему ей запрещают участвовать в боевых операциях в свободное от охоты время? Разве она не солдат? Почему ее гоняют комбаты? Разве она смалодушничала, пряталась за броню, когда немцы обстреливали десант на танке? Были убитые, она успевала делать перевязки раненым, стреляла, бросала гранаты. А что жива осталась, так не всех же на войне убивают.

Просто смешно, до чего глупо все получается. Солдат просится в бой, а ему говорят — сиди в запасной, не бегай на передовую, это самоволкой называют. А бегать от комбатов больше она не в силах. Она понимает, когда решение принято, обсуждать уже поздно. Вот даже ее верная подруга была за взыскание. Только очень обидно, когда наказывают за то, что она с поля боя не убежала...

Роза расплакалась.

Она выучила все уставы, когда «загорала» в запасной. Где же

там сказано, что солдат не имеет права воевать! Почему это называется самоволкой, когда солдат уходит из второго эшелона на передовую.

Только когда она замолкла, закурил подполковник свою папиросу. Сквозь облачко синего дыма она увидела глаза человека. Внимательные, спокойные, добрые.

— Все?

— Ага, — сорвался с языка неожиданно совсем не военный ответ. Покраснела. Потом поправилась: — Все, товарищ подполковник.

Подполковник поднялся с места, прошелся по комнате, остановился в сторонке.

— Ну, теперь ты слушай. Это очень хорошо, что Шанина наша такая отважная. Это не каждому дано и не у каждого воина на груди орден солдатской боевой Славы. Ты сама знаешь, Шанина, это очень высокая награда. Гордая, почетная. Но одно — смелость, отважное и, имей в виду, благоразумное поведение воина в бою, и совсем, совсем другое — отчаянность, эдакая лихость необузданная. Твое место, Шанина, на огневой позиции снайпера. Там он, твой бой. Да еще какой! С глазу на глаз с врагом. Упадешь — никто не поднимет. Там ты на своем месте, побольше бы у нас таких снайперов. Держать тебя под замком, что ли! Ну скажи, по совести, по-граждански, по-комсомольски: была такая острая необходимость воевать тебе там, за переправой?

— Была, товарищ подполковник! — не задумываясь, ответила Роза. — Там мало людей оставалось, были раненные, а они лезли, лезли...

— Ну вот, вместо ответа целое боевое донесение. Я тебя не перебивал, умей и ты слушать. Ты встала на место убитого, а кто придет на твоё место? Ты думаешь, что в армии называют тебя знатным снайпером ради эдакого звонкого, модного словца! Нет, Шанина, это тоже высокая награда и честь по заслугам. Ну так вот что я обязан сказать тебе, — ты нужна армии для своей прямой, дьявольски тяжелой работы. Запомни, для своей прямой работы. Сколько на твоём счету?

— Пятьдесят два.

— Будет больше! Вот в чем смысл твоего служения Родине.

— В боях я больше перебиваю! — вспыхнула Роза.

— А разве вам в школе не говорили, что каждый удачный выстрел снайпера стоит нескольких десятков в бою? Пойми, Шанина, выстрел снайпера действует на психику врага, враг начинает осторожничать, ему начинает казаться, что снайпер за ним по пятам следует. Разве вам не говорили об этом?

Роза опустила голову.

— Ты помнишь как они под Витебском заерзали, когда узнали о нашей группе снайперов.

— Красивую жизнь обещали, — покраснев, сказала она.

— Вот, вот! Красивую жизнь, — подхватил подполковник и вдруг, совсем уже по-другому, доверительно сообщил Розе о том, какие меры принимает враг для ликвидации группы снайперов. — Действуй осмотрительно, Шанина. Они и здесь охотятся за вами, будь очень внимательной на своей позиции.

— Товарищ подполковник! Значит, и вы запрещаете...

— Только тогда, когда деваться некуда, когда это неизбежно, необходимо. Только в таких случаях.

Она думала — подполковник добрее всех других, думала, он все поймет, потому и говорила так откровенно.

В комнату вошел комдив.

— Оправдывается? — мельком взглянув на Шанину, сказал генерал, опускаясь в кожаное старинное, разукрашенное бронзовыми венчиками кресло.

— Просит постоянный пропуск на передовую, — улыбнулся подполковник.

Скользнув глазами по лицу Розы, генерал махнул рукой.

— А она, кажется, и без него обходится.

Вот только когда взглянул на свои часы подполковник. Роза это заметила.

— Разрешите идти, товарищ генерал?

— Разрешаю, Шанина, если у тебя тут все. Разрешаю.

И не ушла.

Хотела сказать что-то очень убедительное, но это «что-то» в самую нужную минуту затерялось, вылетело из головы, оборвалось дыхание, горькие предательские слезы заволокли глаза. Она поправила выбившуюся прядь волос, безотчетно шагнула от двери к столу. Лучше бы она ушла не оглянувшись, чтобы не увидели ее лица. Щеки горят, слезы не сдержать, а тут еще на беду платочек остался на столике, там, дома. Все беды одна к другой.

Провела ладонью по одной щеке, по другой и снова почувствовала острую, неодолимую потребность сказать им такое, чтобы поняли наконец, что не властна она управлять своим сердцем, что это оно зовет ее в бой к солдатам самого переднего края.

— Ах ты, скажи, беда какая! — притворно вздохнул генерал. — Человек, понимаешь, в бой просится, а его не пускают.

Комдив подошел к Розе, по-отечески положил руку на плечо девушки.

— Пойми, Шанина, наконец, пойми своей горячей головой, ты нам нужна живая. Живая, понимаешь, правофланговая группы снайперов нужна. А без тебя на кого равнение держать твоим подружкам?

— Даю вам, товарищ генерал, честное комсомольское слово, никогда больше под огонь зря не полеку.

— Отлично! Умница! Поняла наконец! — улыбнулся генерал. — Верю, Шанина, твоему комсомольскому слову. Разрешаю идти.

...Роза достала свой дневник и записала: «Была у генерала Казаряна и начальника политотдела дивизии. Просилась на передовую. Плакала, когда не пустили». Перечитала. Задумалась. Мысли умчались к берегу Устья. Осеннее утро, грустные глаза матери. «А то останься с нами, — шепчет она, — вот отец говорит, скоро школу у нас в Едьме новую откроют». Ответила: «Я вернусь, мама, вот кончу техникум и приеду в нашу школу ребятишек учить».

Дорога в Архангельск. Немного на машине, потом пешком, затем на возу с сушеной рыбой. Километры под холодным дождем. Все дальше и дальше от дома.

Прислушалась к грому ханению танков и тягачей с пушками. Взглянула на последние строчки в дневнике и приписала: «Если бы люди знали, какая у меня страсть быть вместе с бойцами на самом переднем крае, уничтожить гитлеровцев».

Спрятав дневник, подумала: «Вот так бы и надо было сказать генералу»...

На самом переднем крае

Знойный июнь сорок четвертого года катился над фронтовыми дорогами белорусской земли пыльным, въедливым маревом, густо замешанным на терпких дымах пожарищ. Рев наших «ястребков» в высоком небе твердо свидетельствовал, что оно, это небо, наше! По всему видно, скоро надломится вражья хребтина на этой многострадаальной земле, недолго осталось ждать конца войны. А когда придет такой день и час — этого из траншеи не угадаешь. Отсюда далеко не видно. Перед глазами стена орешника, за плечами — торфяники в синем дыму. И небо. И все.

И вот в такой тихий день две смерти. Два молодых пехотинца сражены пулями вражеского снайпера. Только что оживленно обменивались последними новостями из дома, делились планами на будущее. Чуть подняли над бровкой головы, и готовы. Там, в

туманной заводи орешника, — снайпер.

Вот почему появление старшего сержанта Шаниной в траншеях первой линии обороны 1138-го стрелкового полка обрадовало солдат. Розу здесь уже знали. По газетным фото, боевым листкам, со слов агитаторов. Да и видели девушку в боевых порядках не раз.

Солнце чуть-чуть склонилось к закату. Кто-то посоветовал «протащить пилотку» на палочке вдоль бруствера. Взглянула на советчика строго, но не зло. Молод, по всему видно, зелен еще, хоть и сержант. Что он понимает в охоте? Шепнула, чтоб другие слышали:

— Ты что, друг, думаешь, там дурные сидят?

Солдаты зашикали на советчика: не суйся, мол. Шанина сама отлично знает, с чего начинать охоту за снайпером и чем заканчивать ее. А она, присев на корточки, занялась оптическим прицелом своей винтовки.

Ловко скользнув по ходу сообщения, Роза прильнула к глиняной стенке траншеи. Она чутко прислушивалась к какой-то глухой, пустынной тишине переднего края.

Минуты, часы напряженного ожидания. Наконец, щелкнул одиночный выстрел. Потом — второй. Девушка подползла к сержанту.

— Ну вот и расквиталась. А ты смотри, сержант, все-таки зря не давай солдатам разгуливать, кто знает, сколько их там...

— А ты и завтра приходи, сестренка. Может, еще пару гадов на тот свет спровадишь. — И улыбнувшись, добавил: — Увеличишь счет перед вступлением в партию.

Покраснев, сухо ответила:

— Пошлют — приду. А за совет спасибо.

Человека понимать надо

Дрогнул язычок светильника, колыхнулась дверь плащ-палатка, комсомольский секретарь с ходу объявил, что забрел просто так, на огонек, шел мимо и решил посмотреть, как тут его комсомольцы живут. Придумал — «на огонек». А его, этого самого огонька, и не видно с улицы. Молчал бы лучше Милешкин.

Даже не взглянула на секретаря. Поправила фитилек. Милешкин присел на край скамьи, рядом с Розой. Спросил:

— Что такая не приветливая?

— Ладно, звонарь, не прикидывайся, — зябко поеживаясь от прохладного ветерка, отозвалась Роза. — Ты бы еще на узел связи сбегал, по рации растрепал, мол, слушайте все! Шанина

заявление в партию подала! Комсорг называется.

— Что страшного, ну сказал, пусть знает народ! Кому сказал? Солдатам сказал, а тебе это должно быть известно, народ и партия единое целое, и никакой тут военной тайны нет. Вот.

— Высказался? — чуть усмехнувшись уголками рта, спросила она.

— Точно, высказался, — буркнул Милешкин и резким движением плеча поправил за спиной свой автомат. — Попусту пыль подымаешь, Шанина, с пол-оборота завелась... как тогда...

— Когда это тогда?

— Ну... когда эту самую, самоволку твою обсуждали на комсомольском...

Роза укоризненно покачала головой:

— Солдат, а ничего-ничегошеньки тогда ты не понял.

Стремительный ветерок стеганул по плащ-палатке, она взлетела к потолку и там застряла, зацепившись за гвоздь. Открылось небо, багровый осколок солнца за дальним лесом. Где-то на западной стороне ухнули наши дальнобойные.

Милешкин насупился, потянулся было рукой к своему кисету, да вспомнил, как девушки заставили его однажды погасить папиросу в их блиндаже, оставил кисет в покое.

— Ты что, думал, я на том собрании молчать буду, лапки доверху, за себя не постою, думал? Перевелись, Милешечкин, такие девчонки. Записал бы для памяти, уважаемый комсорг.

— Ладно, ладно, запишу, — согласился Милешкин, — и ты запиши, пригодится. Самокритичность — это все-таки великое дело, Шанина. Для комсомольца. Для коммуниста, ты учти, трижды великое. Самоволка была? Точно, была! Не первая? Ну факт, что не первая. И даже не пятая. А ты тогда развезла стратегию, там, мол, фрицы укрепились, сильно сопротивлялись в своих бункерах... И без тебя бы их вышибли. А ты после этого боя на охоте небось вареная была, и фрицы, что живьем отпустила, о здравии твоём молятся. Так что пора понять, кому вред, а кому польза от твоих самоволок, Шанина!

Роза лукаво прищурилась, взглянула на Милешкина с любопытством, будто на диковинку.

— Ты на гражданке, комсорг, что делал?

— Часы делал на Первом московском... устраивает?

— Ага, — нахмурилась Роза.

— А что «ага»?

— А то, Милешечкин, что человек устроен посложнее, чем твои часы, человека понимать надо. И это записал бы для памяти, товарищ комсомольский организатор. Пригодится. — Встала, поправила плащ-палатку. — А теперь уходи. Видишь, устала.

Отдохнуть надо. Придумал же — «вареная».

Оставшись одна, перечитала письмо Дидо. Надо же в конце концов ответить. Взять себя в руки и написать. Написать как старому знакомому. Вырвала листок из блокнота и убористым почерком написала:

«Вот мы и встретились. Это второе письмо, первое получилось очень длинное и пустое. Нагородила, нагородила, а когда прочитала свое сочинение, сразу дошло — литератор из меня не получится. Письма родным — это могу, изредка пишу еще одному человеку, по необходимости, перевоспитывая. Тоже получается. А это первое в жизни письмо человеку, которого я почти не знаю. Ну вот, прочитала тогда свое сочинение, изорвала на куски. Тут подоспели походы, переходы, а сегодня есть время поупражняться, может быть, это получится поскладнее. В общем так: ничего толкового не сказала, а подходит пора закругляться. Не умею я писать парням, да еще отважным танкистам. Темная, необразованная, не то что некоторые, которые... Фотокарточки у меня нет. Вот честное слово нет. Когда будет, пришлю. На танк не лепи, экипаж засмеет. А свою пришли непременно, вот ей-богу же писать не буду, если не пришлешь. Я злая. Помнишь, как тогда, я тоже не умею в долгу оставаться. Привет, танкист! Пиши. Роза Шанина».

Комдив вносит ясность

Командир отдельного взвода снайперов-девушек гвардии младший лейтенант Кольсин был уверен, что составленный им проект наградного листа на старшего сержанта Шанину вполне отвечает требованиям командования дивизии.

В наградном листе все было точно и все на месте. Год рождения 1925, номер ордена Славы III степени 38018, номер кандидатской карточки 7521560, на фронте со 2 апреля 1944 года. За короткий срок пребывания на фронте старший сержант Шанина показала себя мужественным, бесстрашным воином. Участвовала в ликвидации окруженной группировки противника в районе Витебска, лично взяла в плен трех солдат противника. У границ Восточной Пруссии Шанина уничтожила 26 солдат и офицеров противника. «За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, — говорилось в заключении, — Шанина достойна правительственной награды — ордена Красной Звезды».

Генерал, прочитав аккуратно заполненный наградной лист, испытующе посмотрел на гвардии младшего лейтенанта,

поднялся из-за стола:

— Так, значит, у границы она уложила двадцать шесть?

— Так точно, товарищ командующий, — отчеканил гвардии младший лейтенант.

— А всего в наступательных боях сколько эта девушка перебила фашистов, можешь сказать?

— Могу, товарищ командующий, — пятьдесят семь солдат и офицеров.

— Статут ордена Славы знаешь?

— Так точно, товарищ командующий, знаю!

— Выходит, товарищ младший лейтенант, девушка достойна ордена Славы II степени.

Наградной лист с поправкой комдива в тот же день был отправлен на КП армии.

На слет снайперов

Когда в политотделе армии возник вопрос, кого посылать на слет прославивших свои имена питомцев Центральной женской школы снайперской подготовки, справедливо первой была названа Роза Шанина. На ее боевом счету больше полсотни истребленных оккупантов, имеет два ордена Славы, пользуется авторитетом среди подруг.

Начальник политотдела армии первый объявил старшему сержанту Шаниной о почетной и ответственной командировке.

Ни улыбки на лице, ни вспышки радости в глазах. Только спросила:

— А это очень срочное дело?

— А что, у тебя есть более срочные дела? — поинтересовался помощник начальника политотдела по комсомольской работе.

Смутилась и, ни на кого не глядя, тихо сказала:

— Только одно — воевать.

Напутствие было недолгим: сказали, когда выезжать, какие документы оформить, просили продумать возможное выступление.

И еще — после совещания ей разрешили съездить на родину.

...Возвращалась в свою роту медленно, представляя, как обрадуются Татьяна Викторовна, ребятишки.

— Как дела, старший сержант?

Подняла голову, смутилась, чуть было не прошла мимо офицера. Вскинула ладонь к берету.

— Завтра в Москву уезжаю, товарищ майор. На слет снайперов.

Левадов удивленно поднял брови.

— Так что ж ты голову повесила? Радоваться надо! Вот что: я тебе вечером подкину посылочку, небольшую, письмецо и адрес. Завези на квартиру, расскажи жене, сыну, как тут мы живем, парень у меня славный, любознательный, — Витька.

— Разве это трудно? Конечно, завезу.

— Ну вот и спасибо. А Клавдия Ивановна моя примет тебя как родную. Она ведь тоже воевала, руку потеряла, да еще правую. Под Ржевом воевала.

Моросил дождик. Мелкий, теплый. На крыше аист. Нахохлился, скучный. Так захотелось ей прикоснуться рукой к птице. На этой земле впервые увидела она аистов. Полюбовалась птицей и пошла дальше, вспоминая, как Левадов насильно отправил ее в медсанбат после ранения в батальоне Губкина.

...С подругами договорились так: не прощаться, никому

ничего не желать, не присаживаться перед дорогой и не молчать. Они уйдут просто, как уходили на охоту.

На днях похоронили Сашу Кореневу. Пять девушек-снайперов убиты у Немана, две схвачены вражескими разведчиками и зверски замучены. Валя Лазаренко и Зина Шмелева в госпитале...

Никаких провожаний и никаких воздыханий.

Потому что это война.

* * *

Перед отбоем на доске объявлений появился листок с приказом Главного управления Всевобуча НКО СССР, гласящим, что в распоряжение командования школы поступает сержантский состав снайперов-фронтовиков, воспитанниц школы для передачи молодым курсантам боевого опыта.

А дальше говорилось, что с 1-го Прибалтийского прибыли Нина Соловей, Саша Шляхова, Маша Зубкова, а с 3-го Белорусского — Маша Курицына, Женя Суворова, Таня Гнидина, Люся Кондакова, Дуся Красноборова, Роза Шанина.

Прибыли и исчезли, будто и не было их, посланцев с переднего края, в школьном городке. Когда же об исчезновении девчонок доложили заместителю начальника школы, начальнику политотдела майору Никифоровой, та только рукой махнула: знала «мама Катя» (так за глаза называли ее курсанты), куда подевались ее девочки. Не только за доброту душевную удостоили девчонки начальника политотдела школы интимного, но такого высокого звания. Не всегда была она добра и покладиста, эта «мама Катя».

Всякое бывало в сложной подольской жизни девчонок первого набора школы снайперской подготовки, и слезы были. Горькие, обильные, девичьи. Это когда «мама Катя», спокойно глядя в глаза, скажет вдруг:

— Девочка ты моя, видать, не по плечу выбрала себе дорожку.

Лучше бы обругала при всех. Столько разных дисциплин, уставы, наряды, комсомольские дела, разве осилишь все с ходу, вон рядом бронебойщики, мужики, так и у них проколы бывают. Да какие! Обругала бы, так нет, сразу тебе обобщения, дорожка не по плечу, другую бы выбирала, укатанную, подальше от войны, спокойную. И знает же «мама Катя», что не было у них другой дороги, только эта, одна-единственная, сердцем избранная, и не будет другой до последнего часа войны.

Когда дежурная доложила Никифоровой, что все гости с фронта пропали, койки пустуют, в комнате свет выключен, но

сапоги на местах, та спокойно ответила:

— Все они тут, все тут, с нашими девочками, дай ты им душу отвести, к утру посланцы фронтов будут на своих койках.

А там, в казарме, в синем свете единственной дежурной лампочки, разбившись на группки, вели девчонки свой, им одним понятный разговор о том, чего ни в одном учебнике не найдешь, о том, что испытываешь, когда ты лицом к лицу с врагом, когда дальше и ползти некуда, вот твоя огневая, а вот он, в сотне метров от тебя.

Затем гости с фронта рассказывали девчонкам, перебивая и поправляя одна другую, о том, как здорово, торжественно прошел в клубе Механического завода вечер проводов первого набора. Собралось человек восемьсот: выпускники школы, гости из Подольска. На сцене знамена школы, горкома комсомола, военкомата, да еще шефы принесли свои. На столе красный бархат. Сцена будто в пламени. В президиуме два секретаря ЦК комсомола, генерал из НКО, командование школы, выпускницы школы — отличницы боевой и политической подготовки. После официальной части и вручения лучшим грамот ЦК ВЛКСМ, играл оркестр, пели, танцевали...

До рассвета прошептались девчонки, до смены дневальных, до горна. Утром, после сигнала к занятиям, в классы вошли подтянутые и очень, как им самим казалось, суровые, строгие снайперы действующей армии: ефрейторы, сержанты, награжденные боевыми орденами и медалями.

Когда Роза шагнула в закрепленный за ней для беседы класс, курсанты встали.

Взглянула перед собой, по сторонам, и сердце замерло. Только девушки-курсанты и она. Мысленно успокаивала себя: «Спокойно. В этом доме ты ведь была агитатором, вспомни, как тебя слушали девчонки». Ну и вспомнила, как слушали. Так тогда она с газетой входила в эти комнаты, тогда, в трудные минуты жизни, приходила на помощь «мама Катя». А вчера она призналась фронтовым девчонкам: «У вас, девочки, теперь опыт, какого у меня нет, теперь не советчик я вам». Так и сказала. И вдруг, следом, другая мысль: «Глупая, так теперь за твоими плечами вся твоя Пятая армия, весь твой славный, Третий Белорусский!»

Три твердых шага к столу преподавателя.

— Есть вопросы, девочки?

И улыбнулась. И они заулыбались, потому что встреча очень хорошо, ну просто замечательно началась. Потом девчонки раскрыли свои тетради, притихли. С задней парты рыженькая спросила:

— За что первый орден получила?

— А за то, — в тон рыженькой ответила Роза, — что с 6 по 11 апреля из своей винтовки восемнадцать гитлеровцев уничтожила.

— За пять дне-ей?! — протяжно, нараспев протянула удивленная рыженькая.

— Ага! — звонко, снова улыбнувшись, ответила Роза. А потому снова улыбнулась, что совсем не по-военному у нее это получилось, ну вот так, будто разговаривала она со своими девочками на зеленом берегу ее Устьи.

Вопросы сыпались один за другим: как выбрать себе огневую точку, как ведет себя в обороне противник, какое сближение с ним считается для снайпера предельным, и правда ли, что до войны Роза работала в детском садике с малышами, и бывало ли, что она с фашистским снайпером один на один выходила?..

Все получили ответы. Что знала, что испытала, обо всем обстоятельно рассказывала.

В коридор выбралась в плотном окружении девчонок. И тут же сквозь шум голосов услышала:

— О-о! Салют снайперу Шаниной, салют! — улыбающийся лейтенант Савельев протягивал руки навстречу Розе.

Холодно, строго посмотрела на него Роза и, не сказав ни слова, прошла мимо. Лейтенант глупо ухмыльнулся и, потоптавшись на месте, нырнул в распахнутую дверь канцелярии.

Дорога и люди

Желтые машины, черные кресты на бортах, багровые, горячие всплески огня. Ползут, переваливаются с гусеницы на гусеницу, гремят зубчатками, чадят. Огонь, дым, грохот. Много огня, много дыма. Дым застилает землю, дым до самого неба, до звезд. Привалилась к стенке, крепко сжала винтовку... Почему она такая... легкая, без оптического прицела... Жаркое дыхание огня все ближе, ближе. А там стена. Серая, каменная, холодная. И дым холодный. Давит, бугрится, слепит глаза. Ничего не видно.

— Девушка!

Открыла глаза. Говорят, крепок сон солдата, пушками не разбудишь. Это когда войны нет, это когда солдат — просто солдат срочной службы. Сон солдата-фронтовика другой, тревожный и чуткий. Топни не так ногой рядом — и проснулся солдат. Открыла глаза, и погасло пламя, растаял черный дым. Остался табачный, махорочный, горький, въедливый. И дед перед глазами. Такой картиночный дед-резвачок, веселенький, жиденькая борода на клинышком.

— К окошечку просунься милая, ножки подбери, а я тут вещички свои пристрою.

Дед, кряхтя, подтаскивает сундучок, силится втолкнуть под скамью, а там мешков полно. Закашлялся, всех святых перебрал. Наконец уgomонился, придавил ногами свой сундучок, одним глазом взглянул на девушку.

— Шинелка-то у тебя с погончиками. Своя аль чужая?

Сладко потянулась, так спать хочется, а он со своей шинелкой. А дед, потрогав пальцами тощую бороденку, тяжело вздохнул.

— Нынче всюду шинелки, куда ни глянь. Одежка ходовая. Гражданская-то поизносилась, шинелка — амуниция прочная, сносу нет. Вот у меня, скажем, еще с гражданки, так поверишь...

«Так-так-так», — отбивают колеса дорожное время. Покачивается вагон, приседая на стыках, кто-то под потолком выдувает саратовские страдания на губной гармошке.

— Далеко отъехали, дедушка?

— А все тут, сквозь Москву пробираемся. Побоялась, что проспала свою вылезайку? Куда путь держишь, дочушка?

— На край света, в Архангельск.

— А мы вологодские. Поближе. Да я тебе скажу, что Вологда, что Котлас, что твой Архангельск, скажем, это и далеке и недалече. Это значит, с какой позиции подойти. Вот я скажу тебе так...

«Так-так-так», — отбивают дорожное время колеса. За окнами светлячки. Зеленые, красные. Бегут, бегут навстречу... Тишина. Сон. Только губная гармошка все еще выдувает саратовские страдания...

Пассажиры поезда дальнего следования проснулись как-то все разом, и вагон превратился в отсек гигантского муравейника. Всем одновременно что-то понадобилось делать. Дружно суется, дружно перетасовывают вещички, куда-то что-то заталкивают, подвешивают.

Наконец-то все устроились, закрепились на своих, с таким трудом завоеванных позициях. Закрепился и рыжий здоровенный детина с роскошным шерстяным шарфом на шее. Рядом с рыжим детинкой молодуха. В вагоне жара невыносимая, а на плечах молодухи платок. Большой, цветистый, с длинными кистями. Есть чем похвалиться. Молодуха семечками занялась.

Детина вытаскивает из мешка пачку печенья «Октябрь», кольцо довоенной копченой колбасы, сахар.

Подает молодухе.

— Нн-на! Заправляйся, до дома далече.

На краешке скамьи — солдат с палкой. На гимнастерке

полоска тяжелого ранения, медаль «За отвагу», гвардейский знак. Жара в общем вагоне страшная. Роза сняла шинель, с трудом втиснула ее в угол, случайно на детину взглянула, а у него рот открылся, скобочки на губах вытянулись. Локтем толкнул молодуху.

— Глянь-ка.

Молодуха очень свирепо взглянула на рыжего:

— Будет тебе на баб зариться. Медалев не видел, что ли, за тим сюда и ездють такие.

Толчок в сердце. Настойчивый, властный, холодок по телу, пальцы сжались в кулаки. Поднялась, качнулась от какой-то нестерпимой боли, молча, спокойно, ухватила концы цветистого платка. Шелковистые, мягкие теплые. Потянула на себя, потом стремительно оттолкнула, разжала пальцы, брезгливо взглянула на ладони.

— Убивают! — взвыла молодуха.

Детина откинулся к стенке, поводит бесцветными глазами, по-рыбьи глотает воздух.

— Дав-вай, дав-вай, куча мала, — гогочет с верхней полки бритая голова.

— А нну, разойдись, публика! Рразойдись, представления не будет! — и солдат, расталкивая плечами любопытных, пробивается к Розе.

— Это что ж делается, господи! Человека ударили, а народ не встρεвает. Господи!

С верхней полки басок:

— Ты, тетка, лучше помалкивай, обошлось, и благодари своего господа бога.

— «Тетка, тетка!» Ты глаза разуй! — вот только теперь отважился вступить за свою спутницу рыжий. — Она тебе, гражданин хороший, в самый раз в дочки годится. Тоже понимающий сыскался. На человека покушение при народе, а он на полочке позвякивает.

— Вот ты и заступайся, Илья Муромец, — смеется бритая голова.

— И вступлюсь, — бормочет рыжий, — думаешь, так обойдется. За грудки ухватила. Не посмотрят на медали, живо приставят куда следует.

— Ох ты, герой какой, ангел-хранитель, — теперь уже хохочет бритая голова.

Детина задрал подбородок.

— А твое там дело десятое. Думаешь она... так ей и в морду вдарять дозволено. В таком деле медали не вырчка!

Дрогнула палка в руке солдата. У самого носа детины

дрогнула.

— Ты, шкура, эти звезды не тронь. Не паскудь своим поганым языком звезды.

Прислонив голову к скатанной валиком шинели, Роза спокойно смотрела в окно. Все, все, что говорили здесь, не доходило до ее сознания, потому что думала она совсем о другом. Какой-то горький осадок остался от короткой встречи с Клавдией Ивановной. На обратном пути она еще будет у нее, так условились. Но почему столько грусти в глазах этой женщины, почему она так скуп, холодно спрашивала о своем муже, больше слушала, вяло отвечала. Витьку видела мельком. Влетел в комнату, схватил отцовский подарок — немецкую каску, взвизгнул от радости и исчез. Забыл даже об отце расспросить. Ну, это понятно — мальчишка.

Поднимаясь в лифте огромного желтого дома на Чистых прудах, Роза думала: расспросам конца не будет, вечера не хватит, а получилось все проще. И времени вполне хватило, и вопросы были какие-то вымученные, ничего не значащие. Ну такие, без которых можно было бы вполне обойтись, потому что они относились больше всего ко всем, и меньше всего к Левадову.

Странно все получилось, даже загадочно.

Потом обедали. Клавдия Ивановна рассказывала о своей новой работе, о том, как она наловчилась одной рукой набивать плюшевых мишек. Спрашивала о родных и знакомых Розы.

До поезда оставалось около двух часов, а Клавдия Ивановна уже забеспокоилась. На часы стала поглядывать, поставила на стол баночку с джемом. «Это отдашь своим малюткам». Пили чай молча. С галетами. «Это в нашей артели выдают без карточек инвалидам войны».

Колеса выстукивают дорожное время. Бегут, бегут за окном встречные березки, а вокруг все еще шумят, спорят, стыдят кого-то, убеждают кого-то. С верхней полки свесились ноги в черных спортивных тапках. Потом эти ноги развернулись в воздухе пятками вверх, и огромный дядя, едва не задев коленями лицо молодухи, спустился на пол. Расправил пальто на своей полке, затолкнул в угол желтый одутловатый портфель образца какого-то очень давнего года и, повернувшись лицом к Розе, предложил ей место на верхней полке. Отказывалась решительно, в знак протеста отворачивалась к окну. А дядя настоял все-таки на своем, да и другие поддержали его, и солдат строго потребовал полного подчинения старшему по возрасту человеку и прибавил, что это даже для того надо сделать, чтобы ордена некоторым глаза не кололи. Ослепнут, до места не доберутся.

А эти «некоторые» теперь уже без хруста и без чавканья

дожевывали остатки копченой колбасы, робко поглядывая то на солдата, то на грузного дядю, то на Розу. Дядя помог Розе забраться на верхнюю полку, а сам, устроившись на ее месте, весело подмигнул солдату.

— Вот так-то спокойнее будет.

— Точно! — громко отозвался солдат. — И девушке нашей сподручнее плевать на таких с высоты своего законного положения.

Она слышала басок того самого огромного дяди, со знанием дела поясняющего, за что награждается воин орденами Славы первой степени, второй, третьей. Орден Славы вручается за вполне конкретные подвиги солдата. Поджег определенное количество танков — получай орден, первым ворвался в траншею противника и этим открыл дорогу для своих — получай орден, истребил столько-то фашистов — орден. Первый в распоряжение противника ворвался и своей храбростью увлек за собой солдат, стало быть, содействовал успеху общего дела. Точно, точно.

И, заметив, как внимательно его слушают, приосанился, хлопнул ладонью по колену:

— А ну, хочешь, весь статут повторю. Девушка, не спишь?

Роза поднялась на локте, взглянула вниз.

— Ты извини, а что, правильно я говорю?

Роза только улыбнулась приветливо.

— Так-то вот, подтверждает, а ей и карты в руки. А скажи, пожалуйста, товарищ старший сержант, если не военная тайна, просвети нас, эти твои два за какие точные дела?

— За пятьдесят семь, — почему-то очень сильно покраснев, ответила Роза.

— Из личного оружия? — вытянув шею спросил дядя.

— Ага, из своей винтовки.

Бритый даже привстал.

— Сама?

Кто-то из соседнего купе хихикнул:

— С божьей помощью.

— Так кто ж ты такая? — удивился дядя: совсем молоденькая девушка и вдруг...

За Розу ответил солдат:

— Снайпер, вот кто она! Такое дело нашему брату, простому полевому стрелку не поднять. — Солдат громко, басовито кашлянул. Так, без нужды, больше для публики, чтоб обратили внимание: не каждый наделен божьим даром определять на глаз воинскую специальность.

Бритый дядя, нажимая на «о», спросил:

— В родные места, стало быть, на побывку?

И она, с любопытством разглядывая бегущие навстречу березовые рощицы, лесочки сосновые, не тронутые огнем и железом, яркие, картиночные, ответила доброму человеку, что там, на родине, в ее Едьме никого из родных не осталось. Отец с матерью перекочевали к старшей сестре, в Красноярск, братья воюют. Сказала, что едет в Архангельск к своим друзьям...

Свежий, раздушенный травами, полевыми цветами трепетный ветерок хлещет в лицо, сон берет свое, гаснут голоса внизу, березки нескончаемой чередой бегут навстречу поезду своей ровной, придорожной стезей.

Лицо командарма... Широкое, доброе... «Четыре дня даю тебе, Шанина, для поездки на родину. Больше нельзя, время такое».

Как радостно жить, когда ты нужна людям, когда сам командарм говорит это...

Снова в Москве...

Витька с каской своей не расстается. В каске воду таскает в бассейн, песок возит, тысячу разных дел придумал для фашистской каски мальчишка. А теперь он просит, чтобы Роза рассказала ему, как устроен фашистский автомат и какой страшнее, наш или не наш.

— А не пора ли тебе, автоматчик, бай-бай? — взглянув на стенные часы, говорит Клавдия Ивановна и, прикоснувшись ладонью к плечу сына, смотрит на Розу. — Ты понимаешь это, наша Розочка очень устала с дороги, а еще ей столько ехать до своего фронта, а еще нам поговорить надо, а еще я хочу, чтобы она чуточку отдохнула на дорожку. Ступай, Витек, спать, ложись, милый, а утром опять за свою каску примешься.

Вздохнул мальчишка огорченно: «Вот всегда так, только про самое интересное — и спать».

Все рассказано, во всем отчиталась Роза. Сказала, как ее встретили в Архангельске, как слушали ее дети, воспитательницы, даже мамы с бабушками и дедушками пришли. А самое интересное было, когда Татьяна Викторовна у входа предупреждала всех взрослых: «Ради бога, не спрашивайте при детях, что она делает на фронте, лучше уж я сама потом скажу». А когда очень нетерпеливые мамы спрашивали, Татьяна Викторовна с оглядкой объясняла: «Она снайпер, вы понимаете — снайпер, она убивает фашистов, и говорить об этом при малютках непедагогично».

А малыши, они разве знают, что педагогично и что

непедагогично. Малыши просто потребовали от Розы, чтобы она как можно скорее перебила всех фашистов и возвращалась в садик.

Рассказала, как они с Татьяной Викторовной ночью, вдвоем, вспоминали, как Роза «готовилась в снайперы». Были проводы. Все вышли на улицу, а Татьяна Викторовна с Агафьей Тихоновной даже до вокзала провожали в машине военного комиссара. Не забыла рассказать и о художнике. Привела его Татьяна Викторовна в садик и заставила Розу позировать. Потом портрет поместили в какую-то старинную раму и унесли в комнату кастелянши. Потом фотографировались, потом все присели и разом замолчали и дружно смеялись над этим древним обычаем. О происшествии в вагоне умолчала. И вспоминать ни к чему. Перекипело, забылось, а то, что в сердце осталось, так это уже на всю жизнь.

Клавдия Ивановна подошла к маленькому буфетику, открыла верхнюю дверцу, начала что-то переставлять, искать. Роза в это время успела подумать: «Совсем другим человеком стала, глаза другие, голос другой».

— Выпьем, солдатик! Мы ведь тут тоже иногда получаем. Думала, Левадов приедет, не меняла. А теперь откроем, нальем в рюмки и выпьем. Водку. А закусывать будем халвой, а халва не такая уж нелепая закуска.

Роза метнулась в коридор, к своему вещевому мешку. Утром получила по аттестату, в городской комендатуре. Достала две банки тушенки, хлеб, пару пакетиков гречневого концентрата, сахар. Поставила банку на стол, вторую на полку буфета, хлеб на стол, остальное туда же, на полку. Клавдия Ивановна строго предупредила:

— Не глупи! Дорога дальняя.

Роза только махнула рукой.

— Давайте не будем, мы солдаты.

К разогретой тушенке нашлись макароны, горчица. По квартире потянулся привлекательный запах жаркого.

— Выпьем, солдатик! И не будем чокаться. Выпьем, чтобы выпить, закусим, чтобы закусить. Да ты что! Кто же нюхает такую дрянь. Солдатик, да пила ли ты когда-нибудь?

— Пила, — поморщившись, ответила Роза. — Целый стаканчик из немецкой фляги. Двести граммов. Знаете, такие пластмассовые, черные. Они ого какие емкие.

— Это по какому поводу? — рассмеялась Клавдия Ивановна.

— Танкисты разыграли. Кисейной барышней называли, завели. Вот я им и показала, какая кисейная барышня. Чуть не задохнулась, они смеялись.

— А ты? — улыбнулась Клавдия Ивановна.

— Тоже смеялась, чтобы не расплакаться.

Клавдия Ивановна снова наполнила рюмочки.

— Смотри мне! В этом доме не плачут. Смеяться позволяю сколько тебе захочется. Витек не услышит. Плакать ни-ни!

Потом они сидели на диване. Рядом. Совсем рядом, вплотную одна к другой. Сидели, молча прислушиваясь к звукам вечернего города. Роза все-таки отважилась, спросила, почему так мало в этой квартире говорят о Левадове. Даже совсем не говорят, даже не расспрашивают.

Клавдия Ивановна ответила нехотя.

— Да так, сама не знаю почему... Видимо, человек не заслуживает, если о нем не вспоминают. Не стоит того...

На прощание Клавдия Ивановна крепко обняла Розу. Достала из карманчика вязаной кофточки письмо.

— Это я получила перед твоим первым приходом. Ну, знаешь, человек ведь это очень сложное существо, ему все надо осмыслить сначала, обмозговать, а потом только — разные выводы и заключения. Получила это, прочитала, еще раз прочитала, сбегала к соседке за папиросой. Разглядывала письмо, как бациллу под микроскопом. Бред какой-то, гадость, мерзость. Потом думала. Очень долго думала. Перебирала в памяти все, что было в нашей жизни с Левадовым. Редкие его письма, слова надуманные, какие-то вымученные, чужие... Ну и вот осмыслила, обмозговала. Ну, в общем, все. А теперь возьми это, прочти где-нибудь в дороге и выбрось. Клавдия Ивановна не из таких, которые клонятся на ветру. Не былинка. Человек. Дай-ка я тебя поцелую, красивый ты человек. Не задавайся, не о лице говорю...

Бойкий почерк. Небрежный, торопливый.

«Дорогая, милая Клавдия Ивановна! Человек — не хозяин своему сердцу. То, что случилось, ни мне не исправить, ни вам не отвратить. На мою долю выпало трудное дело. Я вынуждена вам сказать то, чего не смог сказать Сергей Никитич. Мы любим друг друга, давно и по-настоящему. И сильно. Я скоро стану матерью его ребенка, и хотя бы потому вы должны дочитать это письмо до последней строки. Левадов к вам не вернется. Я не знаю, догадывались ли вы, как женщина, раньше, что это может случиться. Но мне кажется, что Левадов, при всей своей робости и нерешительности не раз давал вам повод так думать. Я читала все его письма, которые он отправлял в Москву. Ребенок подрастет, спросит меня, где отец? Ну что я отвечу ему! Нет, нет, об этом

даже страшно думать.

Смиритесь с тем, что случилось. Я слышала, что вы тоже были на фронте. Очень недолго, но были. А я вот воюю давно и знаю, что такое война, как она закаляет людей, делает их стойкими в жизни. Верю в вашу стойкость, Клавдия Ивановна, верю, что и вы когда-нибудь найдете себе достойного человека, настоящего и верного друга. Это просто необходимо. У вас сын, вы обязаны думать о нем.

Будьте счастливы, милая Клавдия Ивановна, не поминайте нас недобрым словом, вы же сами отлично понимаете, что человеческая жизнь — это очень сложная комбинация чувств и поступков.

Ваша Мария Кузякова».

Роза впервые в жизни почувствовала такое лютое отвращение к живому человеку, к женщине... Коротко стриженные, подозрительно льняные волосы, хохолок завитушкой над белой косынкой. Перед зеркалом это делается, для Левадова это делается... И это письмо... Полюбуйтесь, дескать, какая она сердечная, тонкая! Другая бы просто плюнула на все, что где-то сбоку, постороннее, не свое. А Машенька, смотрите, о судьбе Клавдии Ивановны заботится, думает, Витьку жалеючи прочит в пасынки, поучает, как надо выпутываться человеку из «сложной комбинации чувств и поступков...»

...Дорога, дорога, военная, не военная, долгая, короткая, а все-таки хорошо, когда с тобой человек рядом. Слово за слово, завязался разговор, смотришь — и станция «вылезайка». Это очень хорошо, когда живая душа рядом. А тут — одна. Под жарким брезентом мешки с письмами, перед глазами убегаящая черная лента просторного Мариампольского шоссе...

Письмо давно за бортом. «Прочти где-нибудь в дороге и выбрось». Прочла и выбросила гадкий бумажный комочек...

Последний перегон

Неотправленное письмо

Удивительно быстро обживаются солдаты на войне. Только пришли на голое место, смотришь — к вечеру поселок. Дымят деловито какие-то невероятные, самодельные трубы над блиндажами, блиндажи просторные, с оконцами встречаются.

Рота утром уйдет вперед. Это не секрет, все знают и все-таки пусть одна только ночь, да со всеми полевыми удобствами.

Рота прислонилась к какому-то лесу, там же обосновался и снайперский взвод. Потянулся дымок из труб и трубочек, запахло свежими щами, еще чем-то домашним, девушки вернулись из леса с тяжелыми букетами пестрых полевых цветов. Все цвета осени в букетах.

Роза подросла вовремя. К первой тарелке. И блиндажик ей понравился, подружки сработали, и щами осталась довольна, тоже подружки готовили.

Саша сообщила, что вечером партийное собрание, а пока всем, всем отдых. Так сказал командир взвода. Почему-то опять перед глазами эта Машенька. Вертлявая, крашеная, с хохолком. Подкралась дерзкая, шальная мысль. Письмо отправить Машеньке. Злое-презлое. Получится ли...

Достала тетрадку, карандаш и первые строчки легли на листок:

«Здравствуй, Маша! Ты извини, что я тебя так называю: не знаю твоего отчества. Меня заставило писать тебе твое письмо Клавдии Ивановне, содержание которого мне известно».

Теперь стоило подумать. Ругать Машеньку она не имеет права. Был бы Левадов другим, настоящим человеком — не пришла бы беда в его семью. Не одна Машенька повинна... значит, она оправдывает Машеньку Кузякову? А письмо Кузяковой, бездушные строки, совет найти друга, быть счастливой... Так кто же из них святой, кто грешник? И почему она, третье, совсем постороннее лицо должна вклиниваться в такие дела... Все-таки решила довести письмо до конца.

«Ты пишешь, что безумно любишь мужа Клавдии Ивановны. А она имеет пятилетнего ребенка. Ты просишь

у нее извинения не за то, что позволила себе непозволительную вещь, а за то, что собираешься в дальнейшем строить жизнь с ее мужем. Ты оправдываешь себя тем, что не сможешь одна воспитывать ребенка, который скоро должен появиться... Ты пишешь: „Что я отвечу своему ребенку, когда он спросит, где папа?“ А что же ответит Клавдия Ивановна своему сыну, уже хорошо знающему своего отца? Он спросит после окончания войны: „Почему не приезжает папа?“ Если тебе тяжело разлюбить случайно встреченного человека, то как же Клавдия Ивановна забудет любимого мужа? Кто я? Как и ты, я приехала на фронт. Я снайпер. Недавно ездила в тыл. В пути, в поезде я нередко ловила лукавые усмешки людей, разглядывающих мои награды. Слышала немало неприятных слов. Почему? Почему иные косо смотрят на девушек в гимнастерке с наградами? Это ты виновата, Маша, и такие девушки, как ты! Я не находила себе места и сейчас, вернувшись на фронт, не могу успокоиться. А теперь задумываюсь: как мы, военные девушки, будем возвращаться в тыл? Как нас будут встречать? Неужели с подозрением? Это за то, что мы рисковали своей жизнью, за то, что многие из нас погибли в боях за Родину? Неужели не оценят наши трудности, переживания? Если это случится, то виноваты те, которые отбивали чужих мужей. В этом виновата ты! Подумай, что тебя не простит не только Клавдия Ивановна, но и мы, а нас много. У меня все.

Роза Шанина».^[2]

Пробежав глазами письмо, Роза остановилась на первых строчках. А почему она знает о письме Машеньки? Где взяла она это письмо... Надо подумать, подумать хорошенько. Все это очень сложно, куда сложнее, чем ей казалось, когда она решила писать Машеньке...

Голубка

«Маленькая, еще толком не оперившаяся голубка билась на талом снегу. С каждым движением крыла алое пятнышко на снегу расплывалось, становилось все больше, ярче. Рядом аист. Отчаянно хлопал крыльями, и крик его, тревожный, зовущий, становился громче, громче, голова аиста на тонкой длинной шее то высоко вздымалась к небу, то припадала к земле, к маленькой,

отживающей свой недолгий век голубке. Подошла стройная белокурая девушка, подняла на руки раненую птицу, бережно завернула в полу своего солдатского плаща, прикоснулась теплой, ласковой рукой к белой груди аиста. Аист не отпрянул в сторону, он спокойно принял ласку человека, кося глазом то на лицо девушки, то на завернутую в плащ голубку. Потом шагнул к дороге, расправил крылья и полетел. Птица звала человека, и человек пришел. Человек сделал то, чего ждала птица, о чем она так призывно кричала. Но прежде чем улететь своей дорогой, аист совершил прощальный, парящий круг над беспокойной, опаленной землей. Белокурая девушка долго, долго смотрела в небо. Сегодня она впервые в жизни прикоснулась к этой красивой птице с таким большим, добрым сердцем.

Пригретая теплом руки голубка притихла, успокоилась, и только янтарный, настороженный кристаллик птичьего глаза бодрствовал, поблескивал. Приглядевшись, девушка увидела в этой желтой, сверкающей капельке небо. Большое, голубое небо».

Только теперь улыбнулась Роза. До последней строки слушала внимательно, не обнаруживая на своем лице ничего такого, что могло либо порадовать, либо огорчить автора этого маленького невыдуманного рассказа о том, что было. Она сказала:

— Никакого неба я там не увидела. Вот.

— Все другое похоже? — спросил автор.

— Ну все другое ладно... только скажи, для чего это?

— Пока для себя, — автор смутился, — я даже редактору своему не покажу. В общем — для себя. Это пока.

— А потом?

— Потом, Роза, если будем живы — для всех, чтобы знали люди, что наши девчата-снайперы не какие-нибудь Валькирии, а самые обыкновенные и самые сердечные люди, добрые и нежные.

Роза задумалась. Прислонившись плечом к стене, бесцельно перелистывала тонкими пальцами книгу, по-школьному обернутую в газету, и, казалось, прислушивалась к шелесту страничек с потемневшими уголками.

Потом, оставшись одна, Роза записала в своем дневнике: «Прочитала „Сестру Керри“ и „Багратиона“... О, Керри, Керри! О, слепые мечты человеческого сердца! Вперед, вперед, твердит оно, стремясь туда, куда зовет красота».

Звезды над чужой землей

Над рекой Шешупой звезды, за рекой Шешупой алые строки

трассирующих пуль, по низкому берегу огненные всплески мин, а дальше, за берегом, на той стороне разрывы снарядов.

За рекой Шешупой, на той стороне идет бой. Ожесточенный, незатухающий, за каждую пядь вражеской земли, за каждый дом, за каждое пулеметное гнездо. А здесь, на прусской земле, гнезд этих и гнездышек неисчислимое множество. Амбразуры под крестьянскими домами, добротные, стародавние, сработанные еще перед первой мировой войной. Гнезда в подвалах конюшен, сыроварен, каретников, под крышами свинарников, в глазницах старинных замков, на колокольнях. Попадают доты с вращающимися бронеколпаками, попадают доты в два этажа, в три! С колодцами для питьевой воды, с орудиями.

Там, на той стороне, из века в век кочевала, утверждалась, вколачивалась в горячие головы юнцов доктрина «вечного факела тевтонов» над землями Восточной Пруссии.

Роза пробивалась с группой автоматчиков к каменной конюшне. Стены огрызались дьявольски, автоматы строчили отовсюду, из всех окон, щелей, укрытий. Подползла к камню, залегла, приготовилась к выстрелу, вот-вот в проеме слухового окна снова появится пилотка гитлеровца, вдруг громкий окрик рядом:

— Куда! Ку-у-да лезешь! Не видишь, что ли?

Граната с треском и смрадом лопнула где-то впереди, неподалеку от камня. Щелкнули близкие пистолетные выстрелы. Только теперь сообразила, как далеко забралась, да и каменная глыба не укрытие.

— Уходи, тебе говорят!

Не обласкала девушка солдата благодарным взглядом.

— Сам уходи!

Теперь они лежали рядом, плечо к плечу. Солдат пристраивая свой ручной пулемет, шепнул ворчливо:

— Черт тебя занес.

— А тебя? — не взглянув на солдата, огрызнулась Роза. Все ее внимание было приковано к чердачному окну. Трех она сняла, там еще несколько, о снайперской засаде не подозревают. Солдат не унимался.

— Тебя, дуру, приполз выручать, а ты...

Роза впилась в зрачок прицела. Сухой хлопок выстрела. Солдат приподнял каску.

— Ловко ты его!

— Отваливай подальше! — резко крикнула Роза.

— Не ори, сама уползай, пока не накрыли!

— Отваливайся! В последний раз говорю!

И солдат сдался. Пятясь назад, уволаскивая за собой пулемет,

солдат молча отполз от девушки. Отполз недалеко, к колодцу. Не мог он оставить ее одну на этом прусском хуторе. Да и сам солдат умирать не собирался в такую пору. Просто обидно уходить из жизни, когда ноги стоят на земле врага, когда столько пройдено и выстрадано ради этого часа. Солдат оглянулся. Издалека докатывался рокоток моторов. Может быть, это почудилось ему. Все бывает, когда нервы на пределе. Видит солдат — девушка оглянулась. Значит, не почудилось. А вот и она, тридцатьчетверка! С десантом! Родненькая! Не много солдат на бортах, так ведь это же танк! Сила!

Еще два выстрела щелкнули впереди солдата. Это Роза послала две пули в слуховое окно, отползла к колодцу, поднялась и во весь рост бросилась навстречу танку. Подхватил солдат свой пулемет и тоже следом за девушкой, к танку.

Танк подобрал обоих не останавливаясь, на малой скорости. Роза успела показать командиру место скопления гитлеровцев.

— Держись, пехота! — молодежато крикнул лейтенант, и машина плавно, чтобы не сбросить людей, набирая скорость, ушла за хутор. Теперь-то гарнизону конюшни капут.

Боевая девчонка

Короток сон солдата, и ночи коротки фронтовые. Даже осенние. Кажется, только прилег, только прикоснулся всем телом к земле, — вставай, подымайся, солдат, собирайся в дорогу военную, с привалом, без привала, с обедом, без обеда. Там, в дороге вздремнешь, прихватив рукой борт повозки, если будет такая, попутная.

Плотно прижавшись плечом к борту груженной повозки, Роза возвращалась в свою роту. Где теперь она, ее рота? Роза не знала, никто не знал, потому что все двигалось, перемещалось круглосуточно. Не вперед, не к Шешупе, там шли бои, перемещалось просто с места на место, армейские хозяйства перекочевывали по фронту, высвобождая пространство для ударных соединений фронта.

Роза шла с закрытыми глазами. Это был ее отдых после охоты, а может быть, и мгновенный сон в пути под монотонный хруст гравия. Короток сон солдата, коротка дорога. Повозка вдруг остановилась, Роза услышала:

— Прибыли, девушка, просыпайся!

Открыла глаза, оглянулась. В дымке тумана маячила та самая колокольня, которую она видела, когда подходила к повозке. А думала — вечность прошла.

Где теперь ее учебная рота? Старые указатели сняты, новых в суматохе передвижения не успели поставить, вот и гадай, куда идти. Идти надо, надо скорее добраться до роты, не заплутаться в паутине безымянных полевых дорог и тропинок. Увидела самоходку. Ползет навстречу, огромная, солдаты на бортах. Подняла руку с винтовкой. Поднялась крышка люка. Самоходка остановилась.

— Тебе куда? — крикнул со своей верхотуры чернявый, совсем молодой парень.

— На кудыкину горку! — весело крикнула Роза.

— Нет, — замотал головой чернявый, — мы не туда, мы в волчью норку.

— Возьмите, — взмолилась Роза, — я снайпер, не пожалеете.

— Залезай! — властно скомандовал чернявый, и Роза поняла, что это командир самоходки, никто другой так бы решительно не ответил.

Это каждый солдат скажет, на борту самоходки куда спокойнее ходить в десанте, чем на «тридцатьчетверке» или даже на КВ. На этих всю душу вытрясет, пока до матушки-земли доберешься, и в бою первые минуты будешь как очумелый, с чего начинать сразу необразишь. Артиллерийская установка, да еще тяжелая — совсем другое. Поступь солидная, не мотает из стороны в сторону. Все-таки пятьдесят тонн чистого веса.

Теперь Роза совсем не думала о том, на каком транспорте спокойнее добираться до роты. Самоходка так самоходка. На борту самоходки двое раненых. Только бы не упали. Одного придерживает сама, у другого взяла автомат, ухватился обеими руками за скобку, держится. Самоходка идет на огневую одному экипажу ведомой дорогой. Самоходчики спешат, солдаты на борту прикидывают: «Все полсотни выжимает». Может быть, и больше. Резко притормозив, самоходка остановилась. Командир орудия скомандовал:

— Слезай, пехота!

Пальнув выхлопными трубами, самоходка, круто развернувшись, ушла по своему назначению.

Роза отвела раненых за борт разбитого немецкого бронетранспортера, сделала перевязки, потом строго приказала:

— Под пули не соваться, ждать меня, — подхватила свою винтовку, взмахнула приветливо рукой и исчезла за машиной.

Там, за яблоневым садом, горел дом. Большой, двухэтажный, опоясанный кирпичной оградой... Сквозь треск раскаленной черепицы слышались короткие очереди автоматов, хлопки винтовочных выстрелов, разрывы гранат.

— Девчонка, а смотри какая! — поеживаясь от боли в ноге,

простуженным, хриплым баском высказался всю дорогу молчавший солдат. Был он не молод, над глубоко запавшими глазами смешно топорщились темные редкие щетинки бровей, усы солдата, тоже темные, старательно подстриженные, свидетельствовали, что человек он на войне не новый, привык, обжился в трудных полевых условиях. — Боевая девчонка, — повторил с довольной улыбкой солдат, — славная девчонка, душевная.

— Что касается душевности, это ты, браток, сослепу, — угрюмо отозвался второй, безусый. — Душевная твоя сказала, что пуля сквозь мягкое место прошла, а она в самую кость саданула. Взбодрить захотела.

— Взбодрить, взбодрить, — проворчал усатый сквозь зубы, — что она тебе, хирург армейский? Доставит в медсанбат, там и узнаешь, где твоя пуля.

— В мед-сан-ба-ат, — протянул второй, — плевала она на нас, так и прокукуем тут до смерти.

Усатый шумно вздохнул.

— А я-то думал, ты солдат всамделишный, дерьмо ты, — усатый даже отвернулся от своего малодушного однополчанина.

Молчали. Каждый думал о своем. Бой за каменной оградой разгорался. О таких боях газеты не сообщают. Даже дивизионки умалчивают о таких боях. Все больше о том пишут, как сражались за города, как брали стратегические высоты, крупные населенные пункты. Так заведено. Будто мужество солдата масштабами операции измеряется. Но он был, этот смертный бой за оградой, за один горящий дом. Да еще какой был бой! Потом вдруг все затихло. За бортом бронетранспортера послышались торопливые шаги, потом голос девушки:

— Жаждались, солдатики?

Брат Зои?!

Раненых увели под крышу сарая, мертвых предали земле, здоровые, невредимые собрались в кружок у костра в продыmlенном угольном бункере. Притащили таз, выгрузили из карманов аварийные запасы концентратов, нашлось сало, сахар, помкомвзвода выложил на ящик две пачки махорки.

Роза, помешивая кашу, бездумно глядела на огонь, на дымок, который, курчавясь, уплывал к потолку, заполняя темное пространство бункера терпким запахом смолы, горящего торфяника, леса. Роза закрывала глаза и уносилась в свое детство, к лесам устьянским, к своей реке, к дому. Вот и каша

разошлась по котелкам, по кружкам, крупинки не осталось в тазу. А ей и есть не хочется, сон прижимает к стене, давит, пеленает тело, руки не поднимаются.

...Роза вдруг проснулась, открыла глаза. Показалось, что услышала сквозь сон имя. Знакомое-знакомое. Оттолкнулась от стены, обхватила руками колени, стала прислушиваться к тихому голосу помкомвзвода. Рассказывает он, как с десантом на тридцатьчетверке ходил. Ну ходил и ходил, подумаешь, доблесть велика. И она ходила на тридцатьчетверке. И не раз. И даже на КВ ходила... Так отчего же все-таки сон пропал?..

Она слышит: под Оршей старший лейтенант командовал тридцатьчетверкой, теперь тяжелой самоходкой... Дался ему этот старший лейтенант... Ну что с того, что ему девятнадцать лет. А разве мало на фронте молодых капитанов, майоров... Нет, не от этих слов она проснулась. Что-то другое отогнало сон. Перед глазами звездно мерцают угольки отгоревшего костра. Гаснут угольки, все гаснет, растворяется в теплой темени сна.

...Когда уходили, Роза спросила солдата, за какие такие дела они там ночью командира самоходки прорабатывали. Солдат взглянул удивленно, потом перекинул автомат с плеча на плечо.

— А за что его прорабатывать?

— Ну возносили. Подумаешь, к слову привязался.

— И не возносили, — возразил солдат, — по справедливости говорили, парень стоит этого. Забыл вот его фамилию. Трудная фамилия. Зовут Александром, запомнил, девятнадцать лет парню...

— Повез, слыхала, — перебила Роза солдата, — а он обиделся.

— Так, может, ты и все остальное слыхала? Чего же спрашиваешь, заснуть боишься на ногах. Так ты считай до сотни и обратно. Помогает.

— Глупости. Расскажи все-таки про Александра.

Солдат остановился, вытащил кисет, не спеша сделал самокрутку.

— Пошли. Так вот как было. У Александра сестренку немцы убили... Александр закончил танковое училище. Дала жизни фрицам его тридцатьчетверка под Оршей, под Витебском. На башне своей машины имя сестренки написал. Теперь самоходкой командует. Видела, что написано на борту? Ах, не видела. Там прямо-таки огнем горит «Зоя».

— Зоя?!

Мутный, мрачный рассвет тихо висел над землей. Шли молча, тяжело ступая по песчаному месиву вдоль и поперек растоптанной, когда-то тихой и гладкой проселочной дороги.

Роза мучительно пыталась припомнить лицо старшего лейтенанта. Черный шлем, откиннутый к затылку, темные волосы, кажется, и брови темные, густые-густые, круглое мальчишечье лицо... Она так мало видела его.

На развилке, у края большой дороги солдат приветливо взмахнул рукой:

— Бывай жива! Мне туда, — кивнул он устало головой и зашагал навстречу пыльному потоку машин.

Она стояла у сплетения разных дорог и тропинок, тихая, скованная набегавшими мыслями. Так вот какое слово оборвало ее сон: «Зоя».

Тогда она была Таня. Только Таня. Пришла к ней с газетного листа. Мертвая, снежинки на лице, никому не известная русская девушка. Потом она снова увидела Таню на странице «Правды». Смотрите, люди, это Зоя Космодемьянская!..

В новогоднюю ночь

Яркий, слепящий свет многосвечовой лампочки, вкрученной в патрон по поводу встречи Нового года, падал на лицо Розы сверху, волосы девушки, перехваченные тонкой голубой ленточкой, казались еще светлее, бледное лицо было неподвижно.

Она стояла посреди большой комнаты, молча разглядывая незатейливый наряд фронтальной елки. Подруги уговорили пойти на встречу нового, по всем признакам победного сорок пятого года. Организаторы встречи — журналисты армейской газеты — разослали всем своим соседям оттиснутые на печатном станке пригласительные открытки.

Стрелки часов продвигаются к двенадцати. Еще немного, и вступит на эту землю первый день сорок пятого года. По московскому времени.

Водители машин редакции на высоте. Постарались ребята. Раздобыли заветные лампочки, паяли, монтировали, мудрили, и получилась гирлянда цветных огней, опоясавшая елку сверху до низу. Яркая, нарядная елка! Чего только нет на ней! Ватные деды-морозы, ватные зайцы, слоны бумажные, цветы, птицы — раскрашенные и нераскрашенные, похожие и не похожие, но главное — своими руками сделанные.

Роза взяла ножницы, бумагу, нитки. Отошла чуть в сторону. Через несколько минут подошла к елке, потянула на себя зеленую пушистую ветку и укрепила на ней своего белого аиста. Кто-то ему глаза подрисовал, концы крыльев зачернил, клюв подкрасил. И никому в голову не пришло спросить девушку, с какой стати

она вырезала аиста, а не цветок, не звездочку...

Ровно в двенадцать над немецкой землей прозвучал новогодний салют. Стреляли из всех видов ручного оружия. Трассирующими пулями. Глядя на свою уплывающую искорку, Роза протянула солдату его винтовку, потом долго стояла как зачарованная, не отрывая глаз от взбудораженного новогоднего неба. Салютовали по всему необозримому пространству фронта.

Небо, расцвеченное ракетами и блесками зенитных снарядов, было красиво и грозно.

Принесли только что сошедший с машины новогодний номер армейской газеты «Уничтожим врага». Кто-то громко скомандовал:

— Отставить шум! Слово писателю Илье Эренбургу! Шанина, внимание, это к тебе относится!

Она услышала:

— Я хочу поздравить Розу Шанину и пятьдесят семь раз поблагодарить! От пятидесяти семи гитлеровцев она спасла тысячи людей.

В последнее время Розу стали донимать частые упоминания ее имени в газетах. Когда же она увидела себя в «Огоньке», да вдобавок еще в звании студентки Архангельского лесного института, острое чувство стыда и огорчения подтолкнуло ее к своей синей, заветной тетради. Тогда она записала: «Сию и размышляю о славе. Знатным снайпером называют меня в газете „Уничтожим врага“, а в „Огоньке“ портрет был на первой странице... Это все трепотня для тыловых, а я знаю, что еще мало делаю... Я сделала не больше, чем обязана как советский человек, став на защиту Родины. Сегодня я согласна идти в атаку, хоть в рукопашную. Страх нет. Я готова умереть во имя Родины».

И вот опять ударили в постылый барабан при всем честном народе, в такую звонкую ночь! Будто она только для того и пришла сюда, чтобы краснеть до боли в висках, будто сама не прочтет завтра в своей газете, что сказал про нее писатель. Нахмурилась, толкнула локтем подругу:

— Уйду, Саша, не могу, стыдно.

— Ха, стыдно! Подумаешь! Ну и пусть! — отмахнулась подруга.

Вот же привязалось к Саше это «ну и пусть». Редко к месту, больше невпадал, как сейчас. Думала, поймет, подружка верная, словом поддержит, а Саша ухмыляется, Саше весело. Все ей «подумаешь».

А тут еще подошел к Розе со своей постоянной широкой улыбкой фотокорреспондент армейской газеты сержант Саша Становое. Есть такие улыбчивые люди, улыбаются когда надо и не

надо, по поводу и без малейшего намека на повод. Рассказывают, что только однажды, и то ненадолго, упорхнула с лица корреспондента долговременная улыбка. Это когда шальная крупнокалиберная пуля с самолета икру на ноге пробила. Дня три ходил с палочкой Становов без улыбки.

Искося взглянув на распахнутый «ФЭД», Роза тоскливо усмехнулась. Вспомнилась первая встреча с корреспондентом. Было тогда у нее отличное настроение после удачного выхода на охоту, ярко светило апрельское солнышко, не доставало только птичьего гомона в высоком небе, а на земле — нежной, душистой свежести ранней весны. Накинув ватник, она вышла из своей землянки. Просто так вышла, навстречу ласковому, чуть подогретому ветерку. «Девушка! Девушка!» — услышала она тихий голос. Оглянулась, видит: сержант высоченный, совсем молодой парень в куцей, до колен шинели, а голенища кирзовых сапог такие, что в каждое по паре ног войдет и место останется. На груди фотоаппарат раскрытый. Улыбается сержант вовсю, будто всю жизнь мечтал об этой встрече, краснеет, потом спрашивает, не знает ли она, в какой землянке Шанина. Если бы парень так не улыбался, она бы назвалась, а то ведь сам вызвал ее своей неуместной улыбкой на озорство, ну и отправила сержанта с фотоаппаратом на край оврага, к землянке с кривой трубой, к Саше Екимовой. Она ведь не знала тогда, что этот развеселый сержант — фотокорреспондент армейской газеты, оперативнейший человек, который шага вхолостую без «мирового» кадра не сделает по земле...

Вспомнила и подумала: «Ну и делал бы свои „мировые“ кадры себе на здоровье там, за Шешупой, где война, тут бы передохнул, закрыл бы свою кожаную коробочку ради такой ночи». Только подумала, парня обижать не собиралась, а он, словно угадав ее мысли, стал оправдываться, что это не он затеял персональную съемку, что это сам подполковник приказал всех отснять на фоне новогодней елки и что только одна она, Шанина, осталась неохваченной. Так и сказал: «неохваченной». Сказал и ушел к елке, включая пару своих самодельных «юпитеров» и выжидательно взглянув на девушку, приготовился к съемке.

Елка искрилась, елка сияла торжественно, радужно, будто не жестянками да бумажками была увешана, а самыми что ни есть настоящими, отборными, завезенными из довоенного «Детского мира» превосходными, немыслимыми украшениями. И этот ящик в углу комнаты, такой непригодный, в заклепках и ссадинах, с обшарпанными боками, все еще, бог знает почему, состоящий в описи редакционного инвентаря в звании патефона, он тоже, горемычный, стал вдруг неузнаваем, будто сам Орфей вселился в

его ржавое нутро. Что попадалось под руку, то и накалывали на диск: старинные танго, церковные мессы, разные басы и тенора. Какая-то теплая частичка родного дома мерещилась людям в эту звездную ночь сорок пятого года, первая фронтовая новогодняя елка для всех была большой радостью.

Роза прошла к елке, опустилась на стул, тихо спросила:

— Куда смотреть?

Послышались голоса:

— Веселее, Роза! Улыбайся, Шанина!

Ну и улыбнулась. Как могла, так и улыбнулась. Кто-то за плечами весело скомандовал:

— А ну, Сашок, еще разик щелкни, улыбочка слабовата!

Повернула голову, зло взглянула на советчика, подняла упавшую с елки бумажную балеринку и медленно, опустив голову, вышла из большой комнаты. И Екимова выскользнула следом за своей подругой.

— Ты что? — с тревогой взглянув на Розу, спросила Саша. — Ты уходишь, да?

Отозвалась не сразу. Разглаживая пальцами бумажный лепесток, она думала совсем не о том, уйти ей или остаться здесь вместе со всеми до окончания новогодней встречи. Ее вдруг сковало какое-то необъяснимое, тяжелое равнодушие ко всему окружающему. Кажется, так было перед уходом из Едьмы, в ту самую последнюю минуту, когда она взглянула в глаза матери. Вот и теперь оборвались мысли, холодок подступил к сердцу, как тогда, перед дальней дорогой.

К Дидо, в госпиталь

Вернулась в свою роту поздно. Не раздеваясь, присела к столу, достала тетрадь, карандаш, наскоро записала: «Ходила в наступление вместе с пехотой. Продвинулись вперед. По нам били „скрипачи“.^[3] Первый раз я испытывала такой артиллерийский огонь. Рядом рвало людей на части. Перевязывала раненых, а потом втроем мы ворвались в немецкий дом.

Идем дальше. Немец сильно огрызается. Из лощины за домом нас обстреляли самоходки из пулеметов и пушек. Я сняла двух фрицев — один выглянул из-за дома, другой — из люка самоходки. И за весь день больше не было хорошей цели. Мало пользы принесла как снайпер. Может быть, дальше будут лучшие моменты».

Потом письмо Марата увидела за светильником. Развернула,

оно большое, на четырех страничках! Со всеми подробностями рассказывал Марат, что было в доме, когда он прочитал письмо, в котором она сообщала о вручении ей карточки кандидата в члены партии. Отец сказал: «Теперь нас четверо коммунистов в семействе». Мать — в слезы. Вспомнили Мишу с Федей, а отец поднял голову и говорит с гордостью: «Четверо нас! Так и будет всегда четверо, а там и пятый прибавится».

...Все-таки не напрасно бегала Саша на почту. Всем девушкам притащила по пакету с новогодним поздравлением командования ЦШС.

— Возьми довесок, — сказала Саша, протягивая Розе треугольник.

Незнакомый почерк. Старательно, по-школьному, выведены буквы в ровные строчки. Раскрыла листок, что за чертовщина! Подпись Орлова, почерк женский, мелкий, строчка к строчке. Читала молча, долго читала, перечитывала, позвала Сашу.

— На, прочти, ты грамотная, чтой-то до меня не доходит эта писанина.

— Про себя? — удивленно взглянула на подругу Саша.

— Про меня, — усмехнулась Роза, — читай, читай.

Взглянув на четкие строчки письма, Саша спросила обидчиво:

— Разыгрываешь?

Роза густо покраснела.

— Глупости! Читай, и все, когда просят.

— А тут, между нами, девушками, говоря, все довольно ясно. Ну да ладно, слушай: «С новым годом! В дороге был, потому и так поздно поздравляю. Нормальные это делают сразу. И теперь, если признаться по-честному, — в дороге. В общем — седьмые сутки в пути, а причала все не видно. Фонарщик, видно, на маяке загулял. Не светит. Плыву в потемках, да и все. Помнишь моего Федю? Ну тот, который Клочихин, кораблик? Дрейфует. Очень прошу тебя, вспоминай, когда время будет и настроение подходящее, пиши. Номер у меня теперь другой — 17195, океанский. Укачало, а потому и попросил доброго человека за меня потрудиться. По-дружески крепко жму твою руку. Д. Орлов».

— Так это Дидо пишет? — неуверенно произносит Саша.

Роза молчит.

— А хочешь узнаю, что это за полевая? — предлагает Саша.

Роза пожимает плечами, смотрит в окно.

И только после ухода Саши в голове Розы мелькнула мысль, тревожная, смутная: что-то случилось с Дидо... В штрафную попал?.. Нет, нет, штрафная не для таких, как он... Ранен? Так бы и сказал... Потом она увидела в окно бегущую Сашу, вышла на порог.

— Фронтowej госпиталь в Каунасе. Вот что узнала! — выпалила на ходу Саша...

На Мариампольском шоссе Роза села на попутную машину. В кузове никого не было, она свернулась калачиком на груди замороженного брезента и, прислушиваясь к ровному воркованию мотора, стала думать о том, к кому едет. Какая сила швырнула ее мгновенно, без размышлений к человеку, которого она так мало знала, видела, да и было это давным-давно. Казалось бы, все могло раствориться в памяти, отойти бесследно под натиском времени, стремительного, бурного прибою фронтовых дней и ночей. Ничего не растворилось в памяти девушки. Запомнилось каждое слово Дидо в дороге, каждая строчка двух его коротеньких, простых, невыдуманных писем. Перед глазами луговая пойма, пропыленный борт машины, окно кабины, рука парня... Поднял руку, взмахнул приветливо, как давнему своему другу. И она ответила...

Ровно дышит мотор заслуженной, фронтowej полуторки. Нескончаемый лес по сторонам. И там был лес, нескончаемый, дремучий. Только здесь дорога просторнее, бетонка, не трясет. Можно думать, думать... Всего один день отпущен командиром взвода на поездку. Незаметно проскользнула под колесами машины лента Мариампольского шоссе, пошли разноцветные домики пригорода, и неожиданно с высокой горы открылся город. Железные фермы моста уткнулись в дно Немана, поваленные столбы, разбитые машины с крестами. Немноголюдны городские улицы, следы недавних боев, обугленные деревья на большой аллее. Аллея упирается в огромную желтую глыбу собора, за глыбой гора, за горой здания фронтowej госпиталя.

Только сутки на поездку. Время летит стремительно. В общей канцелярии заглянули в книгу, потом в картотеку, потом куда-то звонили, наконец, пропуск выписан. И началось. От одного к другому. Потом она услышала спокойные слова начальника хирургического отделения:

— Да что вы, милая моя, сейчас и речи быть не может о свидании. Утром, после обхода, утром подумаем, а сейчас категорически нет. Ка-те-го-ри-чески.

Осталась в полутемном коридоре. К кому пойти, кого просить, кто поймет ее в этом большом доме. Из комнаты дежурного врача вышла высокая темноволосая женщина. Роза видела ее еще там, в приемной, еще тогда обратила она внимание на пристальный взгляд женщины, на ее большие усталые глаза. Кто она, эта женщина в белом халате, Роза не знала, да и не нужна ей была эта женщина.

Она приближается к Розе. Шаги торопливые, идет на носках, чтобы не стучать тяжелыми каблуками солдатских сапог. Спросила вполголоса:

— Вы здесь, чтобы повидать Орлова?

Роза с надеждой посмотрела на женщину и тихо сказала:

— У меня только сутки...

— Слышала. Завтра к вечеру вы обязаны вернуться в свою роту. Понимаете, формально начальник отделения прав, но, может быть, я помогу вам. Только надо обосновать просьбу. Почему именно вы должны видеть Орлова, кто вы ему?

— Он мой друг, — спокойно ответила Роза. И, боясь, что женщина ее не поймет, волнуясь, продолжала: — Что может быть больше, сильнее настоящей человеческой дружбы. Разве это не пропуск к страдающему человеку. Ко мне в палату приходила Саша. Суматошная, самая близкая из подруг. Заскочит на несколько минут, обогреет дружеским словом, умчится, и мысли умчатся всякие грустные, мрачные, навеванные госпитальной тишиной.

Женщина взглянула на часы.

— Через двадцать минут обход. Сейчас вы увидите Орлова. Только прошу без сочувствия, без эмоций. Волноваться ему нельзя.

...— Кто принес эти цветы, Дидо?

— Чужая тетя. Тут, знаешь, все чужие и добрые. Второй раз в ремонте, — сплошная доброта. А здорово! Правда, здорово! Сплошной ботанический сад!

Роза притворно вздыхает.

— А я даже веточку с новогодней елки не прихватила.

Дидо с трудом повернул голову к свету.

— Ты не добрая тетя.

— Я злая, Дидо, злая.

— Не злая ты...

— Культуры маловато? — вспоминает с улыбкой Роза.

— Не забыла...

Дидо с болезненным усилием поднимается на локте, с трудом протягивает к тумбочке руку, пытается открыть дверцу, что-то достать и вдруг, откинув назад голову, с приглушенным стоном валится на спину. Он только что шутил, улыбался ей, заставил верить его лицу, глазам, улыбке, и она поверила. Его улыбке, шуткам. Вот тогда только дошло до ее сознания, что он борется, не сдается, всеми силами отбивается от неотвратимой и страшной развязки. Открыл глаза, виновато взглянул на Розу.

— Вот каким я стал...

Роза сказала ему что-то ободряющее, прикоснулась к пальцам

его правой руки, крепко сжала их, улыбнулась.

— Открой тумбочку, — тихо попросил Дидо. — Там книга... сверху...

Роза увидела свою фотокарточку. Это ее снимал фотокорреспондент газеты в каком-то литовском селе в тот день, когда вручили орден Славы. Она даже не спросила, откуда у Дидо этот снимок...

В палату бесшумно вошла сестра.

— Прощайтесь, ребятки, идут!

В дверях Роза, обернувшись, помахала рукой. Как тогда, на луговой пойме, когда ей было шестнадцать лет.

После боя

И снова она была в бою. Не виновата в этом нисколько, самоволки не было. Просто заблудилась, а заблудиться на передовой — проще простого. Там даже примитивных указателей-планочек на колышках нет. Там все на глаз, да на слух, да на веру. Спросишь встречного, ткнет рукой куда-то в сторону, ну и топай туда, если поверила человеку. Шла в свою роту, свернула не в ту сторону, ну и заблудилась. А тут самоходчики. Ну, конечно же, до роты теперь далеко, чужая земля, чужое небо, все чужое, а эти свои, все свое, словно островок в море. Попросилась — взяли, винтовка с оптическим прицелом — испытанный пропуск на передовую. Солдаты поделились гранатами, нашлись и патроны винтовочные...

— Шанина! Ша-а-нина! — кричал Перепелов на бегу, расплескивая вокруг себя грязные брызги талого снега.

Она оглянулась и пошла тише. Поравнявшись с Розой, Перепелов смущенно поздоровался.

— Здравствуй, товарищ корреспондент, — мельком взглянув на Перепелова, холодно ответила Роза.

— Понимаешь, Шанина, такая петрушка получилась... написал о тебе, а тут бои, бои, в газете живого местечка нет, а редактор требует: «Давай, давай оперативную информацию...»

Перепелов соврал, потому что думал, будто она обижена на него. Беседовал, записывал, обещал чуть ли не на страницу выдать очерк о снайперах — и ни строки. Ну вот и результат, девушка даже смотреть на него не желает. Роза остановилась, поправила винтовку за плечом, устало вздохнув, усмехнулась.

— Корреспондент, а глупый.

Перепелов вопросительно заглянул в ее глаза. А там ничего такого злого, глаза как глаза, голубые, большие, красивые глаза.

И все-таки он покраснел: не очень приятно слышать такое от симпатичной девушки. Его боевые зарисовки даже в армейской газете печатают. А в «Красной звезде»! Правда, там от очерка о батальоне Закоблук пятнадцать строчек осталось. Так ведь это же ЦО! А если бы она знала, что «Огонек» чуть-чуть не опубликовал его лирическую картинку «Пятнашки». Письмо прислали, обещали дать в августовском номере, а в июне война, там уж не до «Пятнашек» было...

— А почему это... глупый? — спросил вдруг, после долгого молчания, Перепелов.

— А потому. Птички даже голос меняют, а ты все газета, газета, газета... Скучный ты парень, товарищ корреспондент.

— Это я-то? — обиделся Перепелов.

— Ага, — усмехнувшись, ответила Роза, — смотри, какое солнышко, теплынь какая, весна на земле! На небо смотри, а не на меня.

Перепелов широко ухмыльнулся:

— Ты что! Пятнадцатое января на улице, весна еще тютю, отсюда не видно, а ты солнышко, теплынь...

Роза в упор посмотрела на Перепелова, чуть заметно улыбнулась:

— Ой, скучный! Человек в футляре, вот ты кто!

Перепелов рассмеялся. Роза теперь весело улыбалась, потому что это был не хлюпик какой-нибудь, а самый настоящий парень, боевой корреспондент дивизионной многотиражки. В лихой кубанке, с трофейным, длинноствольным парабеллумом на животе. Только все-таки глупый, глупый, не понимает человек, что весна к сердцу девушки не по календарю приходит, вот и Дидо пришел, до поры назначенной войной. И ничего не подделаешь, когда тебе только двадцать лет от роду. Ну и выдумала весну, потому что в дороге хорошо мечтается и сон отлетает прочь.

Роза вдруг остановилась, смахнула с лица улыбку, спросила:

— Вопросов нет, товарищ корреспондент?

— Нет, — мотнул головой Перепелов, растерялся, что-то еще пробормотал невнятное. Такие планы были, когда он увидел Шанину, и сразу все прахом, успел только подумать, что дурнее его нет человека на всем свете. Ну, конечно, она свернет сейчас на ту тропинку, которая уходит в сторону от передовой, а ему топтать по этой к себе в дивизию. И когда еще выпадет такая встреча... За синим лесом без умолку ухают наши полевые орудия, изредка доносится с ветерком частая барабанная дробь «катюш». Там бой идет. С ночи. Там наши взламывают оборону гитлеровцев на подступах к городу. Взглянул Перепелов на лес,

затянутый снизу голубоватой дымкой тумана, спросил все-таки:

— Там была?

— Была. А что? — насторожилась Роза.

Перепелов оторопел, смутился парень.

— Да это я так, Шанина...

Она полоснула его колким взглядом.

— Ну, прощай, а то еще бесстрашие придумаешь. Будь здоров!

Перешагнув канавку, Роза выбралась по снежной слякоти на свою тропинку, оглянувшись, приветливо взмахнула рукой.

В тот день Роза записала в своем дневнике: «Попала к самоходчикам. Ездила в атаку. Я была в машине. Одну нашу самоходку подбили. Были тяжелораненые... От самоходчиков пошла в полк. Доложила, что мне разрешено быть на передовой. Верят с трудом. Меня принимают только потому, что знают как снайпера. Невыносимый ветер. Пурга. Земля сырая. Грязь. Маскхалат уже демаскирует меня — слишком бел. От дыма болит голова. Советуют мне: лучше вернись во взвод. А мое сердце твердит: „Вперед! Вперед!“ Я покорна ему. Будь что будет — вперед! В последнее бесповоротное — вперед.

Сколько жертв было вчера, но все равно шли вперед».

Чтобы ветер в лицо

...Прусская усадьба, начиненная от подвалов до чердаков автоматчиками, не была обозначена на наших полевых километровках. Не было этого чертова логова на самых подробнейших штабных немецких картах. Случались такие картографические «огрехи». Бой непредвиденный, внезапный. Каменные постройки оскалились вдруг ожесточенным огнем пулеметов, рвались мины, фаустпатроны. Солдаты батальона приняли тяжелый, неравный бой.

К рассвету имение было в наших руках. Уцелевшие гитлеровцы под покровом ночи отошли к лесу, а те, раненые, которые остались на месте боя, в один голос твердили, что на имение наступало не меньше батальона русских.

...Под черными сводами сыроварни благодать! Спят солдаты, прижавшись друг к другу, спят без сновидений. Солдат с черными как смоль усами вытащил письмо из кармана полушубка, развернул листок, поднес к мерцающему огоньку плошки. Да разве разберешь строчки при таком свете!

— Сестреночка, ты молодая, прочитай-ка мне.

Роза читает письмо солдату от жены. Солдат слушает с

закрытыми глазами, молча слушает, только изредка кивнет головой да скажет: «Так, так, это верно, это хорошо, когда в доме полный порядок». Письмо прочитано. Солдат молчит, думая о чем-то своем. Роза, прислонившись к стене, тут же задремала.

— Сестренка...

Подняла голову, взглянула на солдата. Нет, не почудилось, это он тихонько позвал ее. Будто заговорщик. Приподнялся на локте, вздохнул и тихонько, будто оправдываясь, спросил:

— Вот, понимаешь ты, сестренка, все думаю, как это ты в таком деле с мужиками рядом оказалась.

Чуть улыбнулась. Так вот что его тревожит. Сквозь сон еле слышно ответила:

— А ты не думай, дяденька, спи.

— Тоже мне нашла дяденьку, — обиделся солдат. — Гвардии старший сержант Родион Степанович Михно. Это к сведению вашему.

«Вот привязался. Сам не спит и людям не дает», — подумала Роза и прошептала:

— Извините, товарищ гвардии старший сержант.

— Извиняю, — угрюмо бросил через плечо солдат. — Девчонка, допустим, на КПП. Законно. Или к примеру девчонка в медсанбате. А как же! Вполне годится. Ну там на ППС, во втором эшелоне, понятно. Работенка по плечу вашему сословию. А чтоб девчонка в пешем боевом расчете с мужиками бок о бок воевала, такого я еще не видал.

— Я и не девчонка, а старший сержант Советской Армии. Понятно вам?

Ничего не ответил солдат. Наконец-то уgomонился. А ее сон как рукой сняло. Достала из кармана полужубка свою спутницу — тонкую тетрадку в синей обложке. Повернулась к огню, и побежали торопливые, неровные строчки.

«Давно не писала, было некогда. Двое суток шли ужасные бои. Гитлеровцы заполнили траншеи и защищаются осатанело. Наши на танках проезжали траншеи и останавливались в имении. Немцы засыпали их огнем. Несколько раз на самоходки сажали десант. В имение самоходки приезжали без десантов. Я тоже ездила в самоходке, но стрелять не удалось. Нельзя было высунуться из люка.

Потом мы подошли к траншее по ложине. Я выползла наверх и стреляла по убегающим из траншеи врагам. К вечеру 22 января мы выбили их из имения, перешли противотанковый ров. Мы продвинулись в азарте очень далеко, и так как мы не сообщили, что продвинулись далеко, по нам по ошибке ударила наша „катюша“. Я теперь понимаю, почему их так боятся немцы. Вот

это огонек! Я каким-то чудом осталась жива и невредима. Потом ходила в атаку вместе со „штрафниками“. Потом я пошла вправо искать своих. Бегу и кричу солдатам, которые сзади: из какой вы дивизии? А слева, от меня поблизости, из-за куста идут к нашим два немца с поднятыми руками.

Встретила своих дивизионных разведчиков. Говорят: пойдем с нами. И я пошла. Забрали мы в плен 14 фашистов. Потом шли маршем, а гитлеровцы бежали без оглядки. Вдруг приказ: взять вправо. Поехали на машинах. Заняли город. Идем дальше.

Техника у нас! И вся армия движется. Хорошо! Большой железный мост через речку. Шоссе красивое. Около моста срубленные деревья — немцы не успели сделать завал...»

Утонул фитилек в воске, погас светильник.

Спят солдаты. Вот и она сейчас уснет. Только как это он сказал, солдат... «Это хорошо, когда в доме порядок»... Белый лунный свет за решеткой подвала. Белый свет на заснеженных тополях, на заснеженной земле... Вот и там, над ее домом, над ее березами лунный свет... Только ее дом особенный, исторический, прямо-таки редкостный. Двенадцать окон по фасаду, четыре трубы над крышей, общая столовая, общая комната отдыха. Он один, ее дом, такой в районе, нет других, на него похожих. И не по годам он исторический, не по возрасту своему.

В старенькой папке отца хранится вырезка из Вельской газеты «Пахарь». За 15 сентября 1928 года. Вот что там было сказано: «Минуя деревню Едемскую, Никольской волости, бросается в глаза новый дом с большими окнами. Кругом, на несколько верст поля, а на них красиво зеленеют полевые культуры. Не видно убогих полосок, которыми все еще изобилует наша крестьянская земля. Это — Богдановская коммуна, так называют ее крестьяне. Севооборот семипольный. Основное хозяйство — скотоводство. Коров 30, лошадей 4, овец 50, свиней 6. Сортировка и сепаратор. Поля клеверные. Население следит за жизнью коммуны, почесывает затылки. Прошло, видно, время злобы и насмешек, которые слышались во времена зарождения коммуны. Коммуне суждено сыграть важную роль в развитии глухого устьянского края».

Эту заметку отец приберег для тех, кто сомневался в историческом значении дома. И для детей своих. Там дома у нее, в зеленом сундучке, под кроватью матери, хранится самое первое классное сочинение на свободную тему. За эту работу учитель пятерку поставил Шаниной, да еще на уроке читать ребятам заставил Розу. «Мой дом» — так назвала она свою короткую повесть о детстве и юности. Там все, что слышала она от отца о своем доме. Дважды загорался он от рук врагов колхозного строя,

были пулевые пробоины в оконных стеклах, бандиты по ночам заглядывали в дом, огнем и смертью грозились, подбрасывали отраву в кормушки для скота, уводили лошадей. Не дрогнули коммунары. Выстояли на зло врагам Отчизны...

Там было и об отце, о том, как схвачен он был в Никольском в марте двадцать первого года мятежниками, как приговорили бандиты его, организатора первой коммуны, к расстрелу. Истязали в церковном подвале. И если бы не подросли конники-чекисты, восемнадцать коммунистов волости были бы казнены утром 21 марта. «Я счастлива, что родилась в таком доме и в такой семье». Так закончила она свое первое сочинение на свободную тему. А потом пошли экскурсии в Едьму. Ходили классами, с учителями, слушали рассказы коммунаров, самого Егора Шанина, а она, счастливая, гордая, водила ребят, как заправский экскурсовод, по усадьбе, показывала новые постройки, неоглядные поля своей коммуны, лужайку под березами, где обязательно будет построена школа...

...Открыла глаза, оглянулась. Темень. В синем просвете двери солдаты, цепочкой, один за другим уходят в тишину.

— Подымайся, сестренка, пошли! — слышит она ласковый голос того самого, усатого, которому читала письмо.

Вот и ночь кончилась. Только не та, что там была, дома, от зорьки до зорьки. Другая. Мгновенная, фронтовая.

Под серым небом серые стены домов. Все вокруг серое, холодное, каменное. Это только на лубочных литографиях, оттиснутых в Берлине, все обязательно яркое, обязательно солнечное, до слез умиления красивое. Там голубые ангелы с розовыми крылышками, алая черепица на крышах, изумрудная зелень лугов, сказочные замки на холмах. На земле — строгие квадраты выгонов для скота, окантованные колючкой. Черная, ржавая колючка. Быть может, она та самая, которую еще вильгельмовские саперы не успели раскатать в дни первой мировой войны. На земле останки машин с черными крестами, коробки газов, поваленные набок пушки с разодранными стволами, вспоротые цистерны. На шоссе вереницы брошенных повозок, машин, мотоциклов, трупы лошадей, солдат в зеленых шинелях, воронки, опаленные тополя...

Следы недавнего боя.

Теперь он там, за холмами. Только разгорается, вскипая огненными факелами разрывов, трескотней автоматов.

Если теперь в свою роту, то это очень просто. Десяток шагов вниз от развилки к овражку, а там через поле, мимо замка прямехонько по шоссе до хутора. И дома!

Вот и ветерок в спину. Попутный ветерок-добрячок. Топай,

Роза Егоровна, к своим, хватит с тебя на сегодня. Воевала честно, на совесть, а что жива осталась после такой адовой заварухи, так это просто повезло. Девчонки, поди, заждались. А помкомвзвода товарищ Кольсин обязательно спросит, где была. Младший лейтенант, а спрашивает построже майора. Он такой, товарищ Кольсин. Чтобы все, как положено, и никакой самостоятельности.

А там, за темными холмами, бой идет. Жестокий, упорный. Ну так как, старший сержант Шанина, домой в свою роту? Это очень просто. Махнула ручкой солдатам: шагайте, мол, милые туда, за холмы, к нашим на выручку, а она домой, с попутным ветерком, через поле по шоссе, прямехонько до теплого хутора... Так это, значит, не она — другая, гордая и счастливая водила березниковских ребят по полям и лугам своей коммуны, приговаривая, что это все с боя взято в самые тяжкие годы нашей жизни... Так это, видно, не она — совсем другая только что с гордостью назвала себя старшим сержантом Советской Армии.

Догнала солдат, пристроилась к черноусому. Ничего не сказал. Только приветливо улыбнулся.

До холмов — не рукой подать, до этого чертова сабантуя топать да топать по мертвому, изрытому воронками полю. Жестокий, подпаленный огнем, отравленный дымами встречный ветер холодом обжигает лицо, тащит над мертвой землей перемешанные, сплавленные в немыслимый гул звуки недалекого боя.

Только теперь оглянулась: далеко позади осталась ее шоссе с попутным ветром. А встречный — он злощный, лютый, сбивает с ног, страшно хочется хоть бы на минутку остановиться, снять винтовку, присесть. Но они идут и идут молча, навстречу ледяному ветру, на встречу с ураганным огнем...

* * *

Дважды переходило имение из рук в руки, и дважды с рассвета начинался смертельный бой. Теперь эти холмы наши, а за каменными стенами главного дома, за стенами конюшни — гитлеровцы. Справа дорога, полудужьем убегающая к лесу, а там... Кто знает, что там. Людей осталось мало, одна-единственная полевая пушечка, вот и вся огневая мощь дивизиона лейтенанта Ветошкина. Мало снарядов и мало людей осталось в дивизионе. А бой идет, идет перекатами, с края на край, от рощицы до холмов.

— На-а-зад! Ложись! — истошно вскрикивает солдат, размахивая над головой автоматом.

Роза не слышит, бежит к дороге, прижимается к стволу дерева, вскидывает винтовку. Перед лесом черная цепочка. Цепочка живая, цепочка змеится, то распадается на звенья, то снова черной строчкой обозначится на заснеженном поле. Всплеск огня, дыма, земли. Цепочка разорвана. Ветошкин увидел немцев, только бы у него хватило снарядов, только бы из леса не вывалились другие. Одна пушка на прямой наводке. На самый крайний случай, потому, что снарядов в обрез. Роза опускает винтовку, последний патрон, последний выстрел по цепочке. И снова бежит через дорогу, не пригибаясь, во весь рост.

— Солдатики! Патронов дайте! Солдатики!

Нет патронов винтовочных у автоматчиков, нет патронов винтовочных у артиллеристов. Диски да магазинные коробки. Подбежала к Ветошкину, протянула руку к брошенному автомату и только теперь увидела за тополями, совсем близко немцев...

Так что же он, ослеп, что ли, Ветошкин! Прислонился к дереву и даже не взглянет на дорогу. Схватила за рукав, хотела сказать лейтенанту что-то злое, и голос сорвался... Оттащила Ветошкина за щиток орудия, а сама, припав к колесу, выхлестнула все содержимое диска в скопище немцев. Сколько их было за тополями, она не видела. Она теперь ничего не видела, что творилось на этой земле. Ничего. Перед ее глазами было небо. Холодное, чужое, серое небо. И почему-то звезды. Много, много звезд.

Потом и звезды погасли...

Бессмертие

В Московском Кремле открылась выставка Алмазного фонда СССР. ...Был мутный, февральский день. Без солнца. Серый и пасмурный. От земли до самого неба. А они, эти крохотные камешки, бог их знает, какими силами доставшие солнечный свет, сверкали, лучились, будто в каждом из этих чародеев было заключено по кусочку упрятанного тучами светила.

Кто-то прошептал взволнованно:

— Ну, прямо как живые!

Живые не живые, но камни, казалось, дышали. Нежно, огненно. Стоило чуть изменить угол зрения, и алмаз то вдруг увеличивался в размерах, то неожиданно уменьшался.

Грани!

Это они оживили камень, руки человека вдохнули в мертвый холодок камня чудесную силу вечно держать в себе все цвета радуги и солнца.

Уральские камнелюбы говорят: «Человек что алмаз. Ограни его с душой, с сердцем — вечно сиять будет».

Быть может потому, что в те дни я готовился к поездке в далекую северную Едьму, на родину Розы Шаниной, быть может потому, что думал об этой мужественной девушке да о том, как когда-то на вражьей земле мы, околдованные рассказами Розы о неповторимых красотах родимого ее устьянского края, договорились, что когда добьем лютого врага в его берлоге (то был январь сорок пятого года) и, разумеется, если живы останемся, — обязательно побываем в ее Едьме. Быть может, это и заставило меня взглянуть на чудесные творения рук человеческих глазами мудрого уральского камнелюба.

Двадцать восемь лет прошло со дня гибели Розы. Это же более четверти века! А имя девушки, подобно ограненному с душой и сердцем алмазу, сверкает, лучится сквозь время и расстояния. У самого Белого моря, где родилась Роза, и там, на земле прибалтийской, где она похоронена, живет имя девушки, принявшей смерть ради жизни на земле.

Я не могу сказать об этом иначе, спокойнее, ну, проще, что ли, когда читаю письма школьников-пионеров, комсомольцев семидесятых годов и совсем зрелых людей — педагогов, боевых ее соратников из сороковых.

Вот строки из письма школьников Ламбасской восьмилетней школы Архангельской области.

«Мы очень хотим быть похожими на Розу Шанину Нам хочется побольше узнать о ней, мы решили бороться за звание

отряда имени устьяночки...»

Ребята пишут, что давно они начали собирать все, что связано с именем Розы, что и учиться стремятся изо всех сил на «отлично», чтобы быть достойными своей землячки.

Комсомольцы Устьянской средней школы сообщают, что они записывают воспоминания ровесников Розы, разыскивают фотографии, газетные вырезки для школьного музея боевой славы, что лучшим пионерским отрядам четвертого и пятого классов ежегодно на торжественных линейках присваиваются имена Зои Космодемьянской, Розы Шаниной, Володи Дубинина.

Пришло письмо от школьницы Веры Пударевой из Котласского района Архангельской области: «Если бы мне удалось быть даже чуточку похожей на Розу, — пишет Вера, — я была бы самой счастливой на свете. Вот увидите, я добьюсь своего!»

Алексей Торопов из поселка Шангалы (Архангельская область) прислал стихи, посвященные памяти Розы. Автор стихов — Александр Яковлевич Макарьин — первый учитель Розы и двух ее братьев. Стихи были напечатаны в местной районной газете. Там есть такие строки:

Шумит ручей, вскипает яро,
Бурлит и пенится вода,
В семье устьянских коммунаров
Росла девчонка в те года...
Характер с малых лет бедовый,
Зато уж друга не продаст,
Уколет — словно куст терновый,
Всегда отпор задире даст.

Не станем придирается к технике. Поэты-профессионалы скажут, тут многое не так. И рифмы притянуты, и слова лежат «неудобно». Пусть так. Но зато как похожа здесь Роза! Похожа на ту, которую мы знали на фронте: неугомонную, занозистую, настойчивую.

«Мой класс борется за присвоение имени Розы Шаниной. Сейчас мы готовимся к сбору, посвященному памяти славной дочери нашей Родины. В этот день соберутся пионервожатые района, представители всех школ», — пишет В. Ф. Тищенко, классный руководитель 5-го класса Большеполянской средней школы Калининградской области.

«Учимся мы хорошо, успевающих в классе нет. Устроили концерт для малышей детского сада. Теперь готовимся к выступлению на сборе памяти Розы Шаниной. Мы во всем

стараемся походить на нашу землячку». Эти строчки из большого письма учеников 4-го класса Юрятинской начальной школы. Пионеры дружины имени Розы Шаниной сообщают о большом сборе, посвященном памяти героини, на котором Ольга Васильевна Филимонова — школьная подруга Розы — рассказала ребятам о последней встрече с ней в Шангалах.

Члены совета дружины пионерской организации имени Розы Шаниной — ученики 6-го класса Едемской школы имени Розы Шаниной сообщают, что в школе открылся в торжественной обстановке уголок боевой славы и оформлен альбом «Наша славная землячка».

Редактор Знаменской городской газеты Калининградской области М. Евсеев совсем недавно прислал весточку с земли, на которой сражалась и погибла Роза. Он сообщает, что у могилы Розы Шаниной 9 мая был митинг, а 19 мая, в день рождения пионерской организации, проведен пионерский сбор. Могила Розы в 8 километрах от ближайшей школы, сообщает автор письма, в 25 километрах от районного центра, и все-таки в дни сборов здесь всегда бывает многолюдно.

Мария Антоновна Кротова — ровесница Розы Шаниной — вспоминает о своей землячке и подруге с каким-то особенным, чуть скрытым чувством грусти и гордости: «Ушла она от нас в город и вроде тихо стало в Богдановском. Правда, правда, так оно и было».

«Шанина была очень авторитетна среди своих подруг, — пишет Герой Советского Союза генерал-майор А. А. Казарян. — Она рвалась на передовую. Там она действовала отлично... Погибла, прикрывая командира артиллерийского дивизиона».

«Славные были девушки. Особенно Роза Шанина, — вспоминал Маршал Советского Союза Н. И. Крылов. — Я помню ее в боевой обстановке. Шанина первой из девушек 3-го Белорусского фронта была удостоена орденов Славы третьей и второй степеней».

В нашей 5-й армии 3-го Белорусского фронта снайпер Шанина как-то сразу, как говорят, с ходу стала заметным, известным воином. В армейской газете, в боевых листках, на страницах «Огонька», фронтовой печати имя отважной девушки появлялось с очень небольшими интервалами.

Вот коротко о Розе в печати.

«Честь и слава бесстрашному истребителю фашистов Розе Шаниной!», «На участке, где несет боевую службу снайпер Роза Шанина, враг убирается в берлогу» («Красноармейская правда», 11 июля и 5 октября 1944 года).

«Пусть радуется русская мать, родившая и воспитавшая

Родине славную, благородную дочь!», «Вчера снайпер Роза Шанина за один выход уничтожила 5 фашистов. С боевым успехом, товарищ Шанина! Теперь на боевом счету бесстрашной девушки 51 убитый гитлеровец и трое взятых лично ею в плен» («Уничтожим врага», 17 и 24 сентября 1944 года).

Можно было бы продолжить выдержки из газет военных лет, но и эти несколько — убедительное свидетельство признания мужества, отваги, воинского мастерства двадцатилетней девушки-воина.

Она так любила жизнь. Быть может, больше, во много раз больше тех, которые, как черт от ладана, бегали от войны. Она надеялась дойти до Берлина и после победы вернуться в Архангельск, к малышам детского сада.

Она вернулась. Она живет в делах пионерских дружин и отрядов, в патриотических починах молодежи, в торжественных обещаниях школьников быть первыми.

Я был на родине Розы и видел просторные, светлые классы нового здания школы имени Розы Шаниной. Встречался со школьниками из отряда имени Розы Шаниной, был в детском садике «Березка», где работала Роза, смотрел там на большой портрет Розы, сделанный художником с натуры, когда Роза приезжала в Архангельск с фронта на побывку. Дети хорошо знают, кто такая Роза. Она очень любила малышей. В Архангельске ежегодно, вот уже около десятка лет, проводятся традиционные соревнования стрелков ДОСААФ на приз имени Розы Шаниной.

Это — сегодня. Через двадцать восемь лет после гибели человека. Это — бессмертие — удел сильных духом, до последней кровинки преданных своей Родине.

—

notes

Примечания

Эта и все последующие записи приводятся по публикации бывшего редактора армейской газеты П. А. Молчанова («Юность», 1965, № 5), которому после смерти Розы командование госпиталя передало ее дневник. *(Прим. авт.)*

Письмо найдено в дневнике Розы Шаниной.

Так называли бойцы немецкие шестиствольные минометы.